

Валерий  
ЕСЕНКОВ



Превратности судьбы  
или  
полная самых  
фантастических приключений  
жизнь великолепного

ПЬЕРА  
ОГЮСТЕНА  
КАРОНА  
де  
БОМАРШЕ

Ярославль 2005

Валерий Есенков

**Превратности судьбы, или  
Полная самых фантастических  
приключений жизнь  
великолепного Пьера  
Огюстена Карона де Бомарше**

«Автор»

2005

**Есенков В. Н.**

Превратности судьбы, или Полная самых фантастических приключений жизнь великолепного Пьера Огюстена Карона де Бомарше / В. Н. Есенков — «Автор», 2005

ISBN 5-91065-019-X

«Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек? Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен...»

ISBN 5-91065-019-X

© Есенков В. Н., 2005

© Автор, 2005

## Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	23
Глава четвертая	30
Глава пятая	36
Глава шестая	43
Глава седьмая	56
Глава восьмая	65
Глава девятая	72
Глава десятая	80
Глава одиннадцатая	87
Глава двенадцатая	96
Глава тринадцатая	106
Глава четырнадцатая	116
Конец ознакомительного фрагмента.	118

# **Валерий Есенков**

## **Превратности судьбы или Полная самых фантастических приключений жизнь великолепного Пьера Огюстена Карона де Бомарше**

### **Часть первая**

#### **Глава первая Родиться часовщиком**

Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек?

Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен.

Другие, не менее добросовестно относя человека царству животных, с мрачным упрямством твердят, что в жестокой борьбе за выживание этот субъект жестокостью превосходит самого лютого зверя, истребляя, а подчас и пожирая себе подобных с безжалостным равнодушием, порой с наслаждением, чего будто бы никогда не случается с умиротворенным, погруженным в сладостную гармонию царством природы, так что эта двуногая тварь недостойна стоять рядом с волком, гиеной или хотя бы свиньей, и с таким утверждением также можно было бы согласиться хотя бы отчасти, если бы и в этом случае не оказалось несколько непонятным, из какого источника в таком случае проистекают не только милосердие, любовь к ближнему и бесчисленные акты добра, но и в высшей степени благородная способность самопожертвования, не говоря уж о фантастическом превращении этих двуногих тварей в великих людей, в бессмертных героев, которыми на протяжении всей своей долгой истории неизменно и по праву гордится к какой-то неведомой цели бесстрашно идущее человечество.

Наконец, христианская церковь, имея достаточно своекорыстных причин держать в вечном страхе перед испепеляющей карой Всевышнего эту вьючную лошадь, безропотно приносящую к её алтарям кой-какую часть от своих неустанных трудов, которая идет на безбедное существование её добровольных служителей, уверяет с холодным презрением, что весь человек есть ложь и порок, и даже с таким скептическим взглядом на бытие человека можно было бы согласиться хотя бы отчасти, если бы не оставалось ещё более непонятным, каким образом из лжи и порока создается всё прекрасное на земле, воздвигаются бесподобного величия храмы и такой же покоряющей силы, такого же благозвучия бессмертные шедевры искусства,

что сама собой очищается без поста и молитвы, взлетает ввысь затрепетавшая душа и самого худшего из людей.

Что тут возразить? Да отчего-то и не хочется возражать. Философам, по моим наблюдениям, возражать одинаково бесполезно, как и политикам. Философы и политики сами с удовольствием и с большим интересом возражают друг другу, мало заботясь о том, хорошо ли слышат, хорошо ли понимают их построения нефилософы и неполитики, ибо они всегда чрезвычайно довольны собой.

Я же думаю, что в человеке намешано всего понемногу, и злого и доброго, и хорошего и плохого, и добродетелей и пороков, и жажды истины и склонности к лжи, так что в конечном счете его земная судьба зависит от обстоятельств и от него самого, в этих обстоятельствах он сам может выбрать, в любом направлении может двинуть все силы души и решить, к какому берегу плыть.

А как же, спросите вы, если обстоятельства враждебны ему, те неумолимые обстоятельства, которые гнетут человека и подчас заводят черт знает куда? Что ж, обстоятельства в большинстве случаев бывают враждебны, а благоустроенных, благодетельных обстоятельств не случается никогда, и кто поддается, кто без сопротивления повинуется им, тот влачит незавидную жизнь угнетенного, приниженного раба, а тот, кто со всей непреклонностью, со всей энергией, дарованной Богом или счастливой природой, устремляется против их сокрушающей силы, поставив перед собой обширную и высокую цель, тот становится реформатором, гением, самовластным хозяином жизни, сообразно тому, какова была цель.

Так что вперед, мой читатель, всегда и вечно вперед!

В самом деле, много ли хорошего ждет человека позапрошлого века в стране с абсолютной монархией, если его угораздило явиться на свет в почтенной семье трудолюбивого, вполне добропорядочного часовщика? Положа руку на сердце, такого – младенца, как и миллионы других малышей из не менее трудолюбивых и почтенных семейств каменотесов, обойщиков, кузнецов, стеклодувов, ткачей и крестьян, хорошего не ждет решительно ничего. В королевской Франции всё хорошее испокон веку достается исключительно дворянству и духовенству. В королевской Франции, как и в других королевствах, всем тем, кто не принадлежит к дворянству и духовенству, любезно предоставляется одно единственное, зато неотъемлемое право – право производить, право добросовестно и много трудиться, большей частью от темна до темна, а затем исправно отдавать плоды своих рук в виде оброков, налогов, аренд, десятин, то есть священное право кормить, одевать и обувать дворянина и служителя церкви и наполнять государственную казну, уплачивая своевременно и до последней копейки казенные подати, да к ним ещё всевозможные косвенные поборы, тут и там щедро вводимые бесстрастно-могущественной королевской рукой.

Если же такой младенец, повзрослев и окрепнув, движимый честолюбием, одаренный талантом, вздумает приблизиться ко двору, где, как известно, все самые сытные должности, получившие невинное прозвание синекур, по причине того, что приносят солидный доход, не требуя взамен никакого труда, принадлежат виконтам, маркизам, баронам и графам, а также епископам и кардиналам, при дворе этого выскочку не допустят дальше лакейской. Если же он, ощутив в груди бесценный дар полководца, с головой ринется в армейскую службу, его там не пустят выше капралов, прослужив он добросовестно, с доблестью и геройски хоть до ста лет и почтенных седин. Если он слышит властный призыв на служение Господу и наденет сутану, практичная церковь, всегда умеющая приманивать к себе одаренных людей, с благоговением примет в свое пространное лоно новое чадо, однако и в церкви он будет бродячим монахом или заштатным сельским кюре, поскольку и в церкви все высокие, тем более высшие должности достаются только знатным дворянам, а княжеских и графских наследников посвящают в епископы, едва они успевают выйти из отрочества, редко позднее двадцати лет. Если же он в конце концов предпочтет свое прирожденное звание, к которому издавна принадлежали деда

и прадеды, ему достанется жалкая участь человека бесправного, не только неполноценного, но и презренного. На каждом шагу могут оскорбить его словом и действием, отхлестать плетью, отколотить палкой, при случае просто-напросто плюнуть в лицо, и напрасно он, оскорбленный, униженный, имея хоть сотню свидетелей, бросится в суд, поскольку суд подкупен весь снизу доверху и во все времена держит сторону богатых и знатных, а если, в порядке противозаконного исключения, и примет сторону обиженной стороны, обидчик, далеко не за чрезмерные деньги, приобретет в канцелярии министра внутренних дел летр де каше, то есть чистый бланк, скрепленный королевской печатью, впишет в этот бланк презренное имя вздумавшего фордыбачить простолюдина, и усатые стражи порядка, не прибегая к обременительным хлопотам следствия, не дожидаясь нового определения суда, законопатят беднягу в Бастилию или другую темницу, законопатят на неопределенное время, случалось, и до конца его дней, так что ни родные, ни близкие никогда не узнают, где обретается отец или сын, что с ним стряслось, какая его настигла беда.

По правде сказать, в истории человечества приключаются куда более сносные, почти чудотворные времена, когда сын обыкновенного деревенского мужика или садовника из какого-нибудь затерянного села, разумеется, лентяя и пьяницы, с помощью простого доноса, обыкновеннейшего предательства или самой – отъявленной лжи беспрепятственно поднимается с самого низу до самого верху и там, на самом верху, по благоприобретенной привычке, продолжает лгать, доносить, предавать, не соображая даже того, что незачем лгать, доносить, предавать, поскольку выше с его высоты протиснуться некуда.

Видать по всему, мой герой входит в жизнь, когда на дворе благоденствуют трудные времена. Родной отец, Андре Шарль Карон, живущий в Париже, на тесной, довольно угрюмой улице Сен-Дени, всего лишь владелец маленькой часовой мастерской и сам часовщик, из чего следует, что ему не полагается никаких привилегий и что на него не распространяются никакие права, кроме права делать часы.

Больше того, уже много лет изворотливый Андре Шарль играет в прятки с законом, не только крайне суровым, но бессмысленным и бесчеловечным, поскольку Андре Шарль исповедует кальвинизм, оказавшийся под строжайшим запретом после отмены когда-то в городе Нанте подписанного эдикта о равноправии вероучений. Будучи кальвинистом, Андре Шарль лишается права заниматься ремеслами, которые организуются в цехи, в том числе не имеет права заниматься наследственным часовым ремеслом, которому обучен отцом в небольшом местечке Лизи-сюр-Урк близ Мо, так что ему, человеку живого ума, непоседливой любознательности, обширной начитанности, человеку, без сомнения, с золотыми руками, в молодые годы приходится завербоваться во французскую армию и прослужить какое-то время в драгунах, при этом не имея ни малейшей надежды на производство. Будучи кальвинистом, он также лишается права жениться, а если он все-таки вступит в преступное сожительство с женщиной, его дети останутся незаконнорожденными. Таков этот во всех отношениях безобразный закон, увечивший жизнь не одному миллиону честных французов и лишавший Францию превосходных работников, поскольку известно из опыта, что кальвинисты добропорядочней и трудолюбивей католиков.

Возможно, Андре Шарль Карон так никогда и не возвратился бы к прекрасной профессии своих старательных предков и жизнь его так и сгинула бы без следа в одном из походов от вражеской пули или вражеского штыка, если бы в положенный срок, приблизительно на двадцать третьем году, он не влюбился бы в девицу Мари Луиз Пишон. Любовь драгуна, вопреки обыкновению беззаботных служителей Марса, оказывается сильной и обещает продолжаться всю жизнь, что и подтвердилось впоследствии. Долго, должно быть, ломает голову бедный влюбленный, как ему быть. Он жаждет связать себя узами брака, что в его возрасте по меньшей мере естественно, однако безобразный закон не позволяет ему иметь ни жены, ни детей. К тому же, по всей вероятности, его возлюбленная принадлежит к католической вере, что означает только

одно: её набожные родители никогда не дадут согласия на брак дочери с мерзким еретиком, которого прямо необходимо, для спасения его заблудшей души, без промедления спалить на костре. Можно бы, разумеется, отступить, отойти от греха, да любовь молодого драгуна оказывается сильнее благоразумия. Тогда, покорившись необузданному кипению чувств, Андре Шарль Карон притворно отрекается от веры отцов, в чем принужден дать кому следует уверение письменное, в котором стоит: «Седьмого марта 1721 года я дал клятву отринуть кальвинистскую ересь. Париж, церковь Новых Католиков. Андре Шарль Карон».

Свершив это вынужденное, а потому всего лишь внешнее, видимое отступничество от веры отцов, Андре Шарль не приобретает каких-нибудь особенных выгод или каких-нибудь преимуществ. Нелепость положения, созданного властями, заключается именно в том, что такой чрезмерной и жестокой ценой приобретается всего лишь законное, присущее каждому смертному право на обыкновенную, нормальную жизнь, то есть блаженное право на брак, отцовство и труд.

И вот Андре Шарль, совершив эту подлость, притворно венчается в католическом храме, что вовсе не делает его правоверным католиком, на какие-то деньги покупает обыкновенный дом на улице Сен-Дени, рассудив вполне справедливо, что с его кальвинизмом, которому хранит верность в душе, всего благоразумней укрыться в шумном, многолюдном, многоликом Париже, где никому неизвестно о его еретическом прошлом и настоящем. В просторном помещении первого этажа, хорошо освещенном четырьмя высокими окнами, так близко расположенными одно от другого, что они образуют одно большое окно, он устраивает свою мастерскую, в которой можно наконец свободно и без опаски, что на него донесут, заниматься своим ремеслом, второй этаж, где окна поменьше, но с прекрасными бемскими стеклами, задернутыми кисейными занавесками, определяется им под столовую и гостиную, а третий, в котором узкие окна забраны частыми медными переплетами и прикрыты занавесками из простого холста, отдается под спальни. Затем над входной дверью прибавляется вывеска, густо покрытая позолотой. Вывеска изображает громадный ключ, каким заводят часы, наглядное свидетельство его ремесла. Под ключом выводится жирными черными буквами его пока ещё никому не известное имя.

Приготовившись таким образом прожить неприметную жизнь обыкновенного горожанина, Андре Шарль усидчивым добросовестным честным трудом понемногу достигает вполне заслуженного достатка и с тем же спокойным старанием увеличивает семейство, раз уж ради этого удовольствия пришлось заложить ненавистным католикам свою бессмертную душу. Надо отдать должное Мари Луиз: она приносит ему десять детей. Правда, четверо умирает в младенчестве. Зато шестеро остальных вырастают на славу, все жизнерадостные, веселые, крепкие, как он сам. Сначала идут Мари Жозеф и Мари Луиз, после них милосердный Господь доставляет часовщику наследника-сына, но Андре Шарль на этом не останавливается и прибавляет последовательно Мадлен Франсуаз, Мари Жюли и Жан Маргарит. Разумеется, во время обряда крещения все они получают не вызывающие никаких подозрений, самые что ни на есть католические имена, однако эта пустая формальность так же не делает из них католиков, как и отца, и дома с полушутливым намеком на принадлежность к истинной вере они прозываются Гильберт, Лизетт, Фаншон, Бекасс и Тонтон.

Поневоле Андре Шарль живет очень замкнуто, поскольку не испытывает большого желания сводить знакомство с католиками, принуждающими его к лицемерию. С рассвета до заката во все времена года он добросовестно трудится в своей мастерской, а вечера и воскресные дни проводит в кругу своей неунывающей дружной семьи, где вслух читают стихи или разыгрывают небольшие пьесы на виоле и флейте.

По всему видно, что его сыну-наследнику, рожденному двадцать четвертого января 1732 года не менее трудолюбивой Мари Луиз, предстоит прожить такую же скромную жизнь, сперва обучившись у отца мастерству, затем женившись на скромной и работающей девице, обитающей

по соседству в таком же доме ремесленника, чтобы подарить миру около дюжины новых Каронов, то есть предстоит благодатная тишина и благословенный покой, чистая совесть и неяркое, зато прочное семейное счастье, лишённое разрушительных бурь и беспокойного буйства страстей. Я бы сказал, ему предстоит завидная участь, поскольку не знаю ничего лучше, чем тишина и покой, чистая совесть и мирное счастье дружной семьи.

Поначалу всё именно так и идет. Шести лет Пьера Огюстена помещают в коллеж, открытым каким-то безвестным Альфором, и Пьер Огюстен без особенного старания и, стало быть, без особых успехов обучается французскому языку, французской истории и неизменной латыни, которая во Франции исстари почитается самым корнем образования. Ну, корень это или не корень, мне, сугубо русскому человеку, довольно трудно решить, однако известно, что этот корень образования нисколько не насыщает сына часовщика, в душе которого рано обозначается ненасытная любознательность и непосредственно вытекающая из нее егозливость.

Под действием этих опасных стихий Пьер Огюстен начинает понемногу отклоняться от предначертанного пути. Сперва он с какой-то неутолимой жадностью набрасывается на виолу и флейту, это благородное наследие, полученное им от отца, вскоре присовокупив к этим двум инструментам сладкозвучную флейту, и заигрывается так, что обо всем забывает и, стоит отцу отвернуться, сбегает из мастерской, чтобы насладиться пленительной гармонией звуков. От виолы, флейты и арфы он, тоже по примеру отца, переходит к стихам и кропает их с не меньшим азартом, хотя и с меньшим успехом, чем извлекает мелодии из своих инструментов. Чувства его углубляются. Душа его требует пищи, всё более питательной и разнообразной. Случай где-то сводит его со старым монахом, человеком ученым, неплохо знающим жизнь, который к своим обширным познаниям с лукавством, присущим добровольным затворникам, присовокупляет шоколад и пирожные, заманивая в свои тонкие сети неопытных пострелят. Стоит ли удивляться, что в свободные дни Пьер Огюстен сбегает из отчего дома и проводит время в занимательных беседах с изворотливым искусителем, приправляя полезные сведения соблазнительными сладостями.

Правда, после импровизированных уроков, питательных во всех отношениях, его насильственно принятое, официальное католичество нисколько не становится глубже, и он до конца своих дней с неукоснительным интересом следит за гражданским состоянием протестантов во Франции, однако его взгляды на жизнь после них становятся значительно шире, на его горизонте начинают маячить иные, более притягательные миры, отчего в мастерской отца ему становится скучнее день ото дня.

В этом отношении Пьера Огюстена нетрудно понять: подросток одиннадцати, двенадцати, тринадцати лет, одаренный, живой, с пробудившейся жадью познания, должен просиживать целый день за столом, вплотную придвинутым к большому окну, и, согнувшись над ним, миниатюрными инструментами, к которым ещё не приноровилась рука, напрягая до предела молодые глаза, ковыряться в запутанном, далеком от совершенства механизме часов. Чтобы выдержать это тяжкое испытание, нужно иметь от природы или приобрести при помощи строжайшего воспитания какие-то особые свойства характера, которых Пьер Огюстен, к несчастью, лишен. Скучно ему! Просто никакого терпения нет! Пропади пропадом все эти часы!

Что же он делает? Только то, что на его месте сплошь и рядом делают сотни других, не больше того. Неприметно, шаг за шагом он уклоняется с такого трудного пути добродетели. То он скашивает озорные глаза и подолгу любит тем, что происходит за окном мастерской, за которым в разные стороны степенно шагают прохожие и катят тележки, утром на рынок с тяжелой поклажей, вечером с рынка пустые, весело скачущие по камням мостовой, с возницей, явно хватившим с прибытков винца, а то и вовсе тихонько исчезает неизвестно куда, сведя компанию с ещё большими, чем он, шалопаями, от которых, как не понаслышке известно родителям, ничему хорошему научиться нельзя. Отец, разумеется, приметив неладное, просто-напросто, не утруждая себя размышлениями, запрещает наследнику отлучаться из

дома и тем самым совершает ошибку, чуть было не сломавшую сыну судьбу, поскольку всякий запрет для подростка острее ножа, и уж он отыщет, будьте уверены, как любой запрет обойти. В самом деле, отец ведь не может посадить его на цепь или запереть под замок. Время от времени приходится посылать мальчишку с мелкими поручениями, разумеется, взявши с него предварительно слово, что возвратится всенепременно к такому-то часу, ни разу никуда не своротив с прямого пути. Пьер Огюстен охотно слово дает, однако не видит никакого резона данное слово держать. Он исчезает. Он шляется черт знает где. Он возвращается часов через пять или шесть, когда разъяренный отец приступает к строгим запросам, где был, отчего опоздал, он бесстыдно, скоропалительно лжет, измышляя самые нелепые, самые фантастические причины, отклонившие праведника от прямого пути. Другими словами, мальчишка попадает на наклонную плоскость и того гляди отобьется от рук.

Андре Шарль начинает задумываться, что предпринять, чтобы вырастить сына добропорядочным, дельным мастером, и, дело известное, частенько не спит по ночам. Собственно, предпринять решительно нечего, кроме новых самых строгих, а затем настраивающих запретов, которые в любой семье неизменно имеют обратный эффект. Но что же делать отцу? Нечего делать ему, оттого и не спит по ночам.

И тут на его кручинную голову обрушивается жесточайшее бедствие. В тринадцать лет к Пьеру Огюстену приходит любовь. Удивительного в этом событии нет ничего: в этом роковом возрасте влюбляются чуть ли не все, влюбляются, разумеется, в своих ветреных и милых ровесниц, таких же несмышленных девчушек, так что эта ребяческая любовь вскоре проходит почти без следа.

Только вот Пьер-то Огюстен влюбляется не в ровесницу, не в девчонку с косичками и чуть ли не тряпичной куклой в детских руках. Он влюбляется в настоящую девушку, много старше его, а потому влюбляется с разрушительной страстью. Тут всё дело в том, что для него она недоступна, и подросток беснуется, в своей жажде взаимности готовый на всё, тогда как польщенная и в то же время смущенная девушка зло подсмеивается над ним и легкомысленно подзадоривает его, не понимая, что играет с огнем.

Бедный, бедный Пьер Огюстен! Какие горькие унижения ему приходится пережить! Сколько нестерпимых оскорблений приходится вынести ему на себе! Сколько страданий достается его еще беззащитной, мягкой душе! Какими познаниями обогащается его жаждущий ум!

Первой ему открывается зловещая истина, может быть, самая отвратительная, самая жестокая для мужчины: к женщине не имеет смысла приближаться без денег. Эти романтические, сентиментальные, полувоздушные существа прямо-таки не представляют себе жизни без мотовства. Миллион в капризных ручках многих из них значит не больше, чем несколько ливров в кармане мужчины. Они требуют не столько внимания, сколько щедрых подарков. Их вечно тянет туда, где дорого платят за вход. Они вечно разуты, раздеты и того гляди погибнут от голода. Они вечно избирают только того, у кого тугой кошелек.

А какой кошелек может иметь ещё не вышедший из-под строгой опеки отца подмастерье? В том и беда, что никакого он не может иметь кошелька. Правда, умный отец хорошо понимает, что подростка неприлично оставлять без копейки, если не хочешь ввести его в соблазн воровства и тем погубить. По этой причине Андре Шарль ежемесячно выдает сыну несколько ливров на сласти и прочие мелочи, вроде ножичка или значка, которые подростка так и тянет купить самому. Сумма, конечно, ничтожная, однако и этой суммы хватает вполне, до тех пор, пока несчастье первой любви не обрушивается на его разгоряченную голову.

Видать по всему, что девица по ненасытности нисколько не уступает своим более зрелым подругам. Во всяком случае, положение Пьера Огюстена очень скоро становится невыносимым, если не прямо отчаянным. Влюбленному деньги нужны позарез! А где их возьмешь? И вот дурные наклонности пробуждаются, нашептывают в левое ухо, смелливость тотчас оценивать коварный совет, вскипает энергия, а прирожденная дерзость сама собой приходит на

помощь: обстоятельства, которым он поддается, принуждают влюбленного красть, причем, разумеется, крадет он в доме отца.

Начинает он с безобидных вещей, то есть по уши влезает в долги, прекрасно зная заранее, что никаких источников не развернется в назначенный срок, чтобы по долгам заплатить, после чего принимается сбывать кое-какие мелочи из обширных арсеналов запасливого отца, вроде крышки для часов и ключей для завода, затем принимает в оправку или починку часы тех уличных шалопаев, которых принимает за верных друзей, наконец тайком от отца берет заказы от взрослых заказчиков, будто по рассеянности не заносит их в приходную книгу, стоит на минуту отлучиться отцу.

Часы в те довольно далекие времена очень дороги, некоторые особенно редкие экземпляры стоят целое состояние, так что в общей сложности эти проделки домашнего жулика составляют приличный доход, который тотчас без следа испаряется в какую-то неизвестность, как только он урывается примчаться на свидание к своей чаровнице, и за одной тихой кражей следует непременно драя, за одним противовольным обманом другой, и так без конца, причем никому не дано угадать, в какие дебри порока завела бы его эта несчастная безответная связь, если бы два ужасных несчастья одно за другим не обрушились на него.

Первый неотвратимый удар, естественно, наносит ему чаровница: нисколько не считаясь с нежными чувствами своего юного друга, она у него на глазах предпочитает другого, от чего по меньшей мере можно взбеситься, а то и на время повредиться в уме. Его страдания, кажется, не имеют границ. Его душа выгорает как уголь, Этот первый удар так жесток, что с тех пор женщины уже никогда не смогут иметь полной власти над ним.

Второй удар следует почти одновременно: его проделки становятся известны отцу. Добродорядочный, в высшей степени честный ремесленник приходит в негодование, внезапно открыв, что его окрадывает его подмастерье, больше того, его обкрадывает его собственный сын. Добрый, с любящим сердцем отец приходит в ужас, в одно мгновение представив себе, какое страшное будущее ждет его сына, единственную надежду, наследника его имени, его достояния и мастерства.

Понятно, что между отцом и сыном происходит ужасная, не передаваемая по своей гадости сцена. Отец, как водится, упрекает недостойного сына в неблагодарности, обвиняет в куда более тяжких грехах, чем тот совершил, и просто-напросто честит его на чем свет стоит, потеряв рассудок от горя. Может быть, даже выгоняет сына из дома, как нередко приключается с разгневанными отцами, так, для острастки, разумеется, на самом деле не желая его выгонять. Может быть, впавший в бешеное отчаянье сын впопыхах бросается вон, лишь бы скрыться заслуженной, а отчасти незаслуженной брани и обжигающего душу стыда. Во всяком случае, существует легенда, никакими документами, конечно, не подтвержденная, будто Пьер Огюстен в течение целого года, примкнув отчего-то к бродячим актерам, бродит по ярмаркам и разыгрывает в пестро размалеванных балаганах буффонады и фарсы, с их внезапными превращениями и обманами, неизменными простаками и горько хохочущим арлекином, напялив душевную маску или обсыпав лукавую рожу мукой. Это возможно, как возможно и что-то другое.

Как бы там ни было, протекает около года, и блудный сын предстает перед давно раскаявшимся отцом. Андре Шарль с болью и радостью глядит на свое несмышленное чадо. Пьер Огюстен изменился, вырос и похудел на голодном пайке, под его глазами лежат мрачные тени пережитых лишений, а в глубине глаз плещется сухой, на горечи разочарований настоящий блеск.

Что ж, это старый-престарый сюжет: блудный сын приносит отцу повинную голову, и отец, возрадовавшись в душе, что всё обошлось, принимает и прощает его.

Однако этот старый-престарый сюжет, без конца кочующий по многим семейным историям, в руках не только умелого, но и проницательного Андре Шарля Карона неожиданно получает эксцентрический, во всяком случае необыденный поворот: отец определяет поумнев-

шего сына в свою мастерскую на свободную вакансию подмастерья, что ещё может считаться в порядке вещей, и заключает с ним официальный, оформленный по всем правилам, записанный черным по белому договор, что на первый взгляд выглядит абсолютно нелепо и что в сложившейся запутанной ситуации оказывается единственно плодотворным и верным. В этом замечательном документе шесть пунктов, и каждый из них настолько продуман, настолько хорош и бьет прямо в цель, что стоит того, чтобы прочитать эти пункты с особым вниманием.

В первую очередь благоразумный отец пресекает любые попытки мошенничества, с дотошностью уголовного следователя перечисляя всё то, что Пьер Огюстен уже натворил:

«Вы ничего не изготовите, не продадите, не поручите изготовить или продать, прямо или через посредников, не занеся этого в книги, не поддадитесь отныне соблазну присвоить какую-либо, пусть даже самую ничтожную, вещь из мне принадлежащих, кроме тех, что я Вам дам самолично; ни под каким предлогом и ни для какого друга Вы не примете без моего ведома в отделку или для иных работ никаких часов; не получите платы ни за какую работу без моего особого разрешения, не продадите даже старого ключа от часов, не отчитавшись передо мной. Эта статья очень важна, и я так дорожу её неукоснительным исполнением, что предупреждаю – при малейшем её нарушении, в каком бы состоянии Вы ни были, в каком бы часу это ни приключилось, Вы будете изгнаны из дому без всякой надежды на возвращение пока я жив...»

Покончив таким образом с преступными поползновениями своего оступившегося наследника, отец спешит заложить прочнейший фундамент его будущей нравственности, который видит вовсе не в одном неустанном труде, но и в совершеннейшем овладении мастерством, что следует всячески подчеркнуть, поскольку радеющие о своих чадах отцы обыкновенно забывают как раз об этой важнейшей части фундамента:

«Летом Вы будете вставать в шесть часов, зимой – в семь; работать до ужина, не выказывая отвращения к тому, что я Вам поручу; под этим я понимаю, что Вы употребите таланты, данные Вам Богом, исключительно на то, чтобы прославиться в Вашем ремесле. Помните, Вам стыдно и бесчестно ползти в нашем деле, и если Вы не станете в нем первым, Вы недостойны уважения; любовь к этому столь прекрасному ремеслу должна войти в Ваше сердце и безраздельно поглотить Ваш ум...»

Только покончив с этими основополагающими принципами истинно нравственной жизни, терпеливый отец переходит к менее значительным, тем не менее всё же опасным источникам порока и беспорядка и прежде всего до предела укорачивает преждевременную свободу своего непоседы:

«Отныне Вы не станете ужинать вне дома и по вечерам ходить в гости; ужины и прогулки для вас слишком опасны; но я позволяю Вам обедать у друзей по воскресным и праздничным дням, но при условии, что всегда буду поставлен в известность, к кому именно Вы пошли, и не позднее девяти часов Вы неукоснительно будете дома. Отныне я запрещаю Вам даже обращаться ко мне за разрешением, идущим вразрез с этой статьей, и не рекомендовал бы Вам принимать подобные решения самовольно...»

Запрет налагается даже на слишком ретивое увлечение музыкой, из чего следует, что уже в этом возрасте увлечение музыкой превращается в неодолимую страсть:

«Вы полностью прекратите Ваши злосчастные занятия музыкой и, главное, общение с молодыми людьми, этого я совершенно не потерплю. То и другое Вас загубило. Однако из снисхождения к Вашей слабости я разрешаю Вам играть на виоле и флейте при неременном условии, что Вы воспользуетесь моим позволением лишь после ужина по будним дням и ни в коем случае не в рабочие часы, причем Ваша игра не должна мешать отдыху соседей и моему...»

Пятый пункт пресекает ещё одну вольность, которой Пьер Огюстен был привержен всё последнее время, пока не исчез из дома отца:

«№Я постараюсь по возможности не давать Вам поручений в город, но, если я окажусь вынужден к тому моими делами, запомните хорошенько, что никаких лживых извинений за

опоздание я не приму: Вам известно уже, какой гнев вызывает во мне нарушение этой статьи...»

И лишь в шестой, в последней статье урегулируются материальные отношения между мастером и его подмастерьем, не принимая во внимание того обстоятельства, что подмастерье приходится мастеру сыном:

«Вы станете получать от меня стол и восемнадцать ливров в месяц, которые пойдут на Ваше содержание, а также, как это уже было мною заведено, на мелкие расходы по покупке недорогого инструмента, в которые я не намерен входить, и, наконец, на то, чтобы постепенно выплатить Ваши долги; было бы чересчур опасно для Вашего характера весьма неприлично для меня выплачивать Вам пенсию и считаться с вами за сделанную работу. Если Вы посвятите себя, как то предписывает Ваш долг, расширению моей клиентуры и благодаря Вашим талантам получите какие-нибудь заказы, я стану выделять Вам четвертую часть дохода со всего поступившего по Вашим заказам; всем известен мой образ мыслей, и Вы по опыту знаете, что я никому не позволю превзойти себя в щедрости, так заслужите, чтобы я сделал Вам больше добра, чем обещаю, однако помните, на слово я не дам ничего, отныне я желаю знать только дело...»

Завершается этот достойный восхищения и всевозможных похвал документ вполне определенным указанием на то, что все условия принимаются провинившейся стороной добровольно:

«Если мои условия вам подходят, если вы чувствуете в себе достаточно сил, чтобы добросовестно выполнить их, примите и подпишите...»

Что остается блудному сыну? Если справедливы рассказы неизвестных свидетелей, будто Пьер Огюстен в течение приблизительно целого года шлялся по ярмаркам в труппе голодных бродячих актеров, он по самые ноздри, если не больше, хватил самой крайней, самой унижительной нищеты. После такого серьезного опыта, вдобавок вполне добровольного, он знает на собственной шкуре, что такое в жизни всякого человека достаток и дом, и отец своим договором дает ему понять ещё раз, что в этой жизни деньги означают чуть ли не всё, поскольку единственно возможность иметь в большом количестве этот презренный металл обеспечивает сытость, свободу и привольную жизнь. Ничего не остается ему, решительно ничего. Он безропотно ставит свою подпись под этим дошедшим до нас документом, и с этого дня для него начинается новая жизнь.

## Глава вторая

### Посягательство на достоинство и доход

Вне всяких сомнений, при помощи этого великолепного документа отец останавливает своего блудного сына прямо на краю бездны гнусного, низменного порока, то есть воровства и разврата, однако новая жизнь, которую блудному сыну приходится вести в соответствии с суровыми пунктами договора, оказывается немилосердно однообразна, если не сказать, что чрезмерно скучна.

В самом деле, представьте только себе, совсем ещё молоденький юноша, точно так, как указано в родительском договоре, собственноручно подписанном им, всякий день поднимается в шесть утра в летнюю и в семь утра в зимнюю пору, наскоро проглатывает чашку кофе со сливками, приготовленного для него на спиртовке, и под бдительным оком отца спускается в пустынную, прохладную мастерскую, отапливать помещение которой не принято. С больших окон снимаются тяжелые ставни, обороняющие почтенного мастера от разорительных набегов местных грабителей. На окнах не остается никакой, даже самой легонькой занавесочки, поскольку для кропотливой работы с часовым механизмом необходим свет, как можно больше яркого, самого чистого света, к тому же цеху злокозненных ювелиров удалось протащить через городскую управу закон, согласно с которым парижские часовых дел мастера обязаны трудиться у всех на виду, чтобы не пускать в дело благородных металлов, что является ненарушимой и весьма доходной привилегией одного ювелирного цеха.

После этого юноша опускается на табурет, склоняется над широким аккуратнейше прибранным, чистейшим, без единой пылинки столом и до самого позднего вечера копается в сложнейших часовых механизмах, используя миниатюрные, тончайшие инструменты, которые нелегко удерживать грубыми мужскими руками. По улице Сен-Дени грохочут телеги, позднее спешат по своим повседневным делам степенные горожане в темных камзолах, в коротких штанах зеленого, черного, красного бархата, в чулках, в башмаках с тупыми носами, степенных горожан сменяют розовощекие щеголи в ярчайших шелках, в лентах и в кружевах, в таких париках, что чужие волосы опускаются до середины спины, а рядом с розовощековыми щеголями движутся прелестные женщины, тоже в лентах, в кружевах и шелках, с такими хитроумными сооружениями на вздорных головках, которые своим видом и даже величиной напоминают готические соборы и средневековые замки.

На плечах Пьера Огюстена тоже скромный зеленый камзол, короткие штаны прочнейшего черного бархата, пестрые чулки из английской хлопчатой бумаги и тупоносые черные башмаки, украшенные квадратными пряжками чеканного серебра, единственная роскошь, которую ему позволяет суровый отец. Он не может поднять головы, не имеет права окинуть ревнивым завистливым взором счастливого щеголя или призывной улыбкой привлечь внимание обольстительной юной красавицы. Рядом с ним, за другим широким столом, на другом табурете, одетый точно так же строго, как он, восседает Андре Шарль, отец, и стережет его строже, чем стерегут преступников в королевской тюрьме, потому что, в отличие от блудного сына, королевские узники не давали честного слова не пытаться бежать, тогда как блудный сын слово дал и связан несокрушимыми оковами чести.

Только с последним отблеском уходящего дня, после десяти, двенадцати, четырнадцати, даже шестнадцати часов неустанных трудов, в зависимости от времени года и прихотей парижского солнца, оба чинно поднимаются со своих табуретов, тщательно прибирают свое рабочее место, навешивают на окна дубовые, окованные стальными полосками ставни и поднимаются на второй этаж, где в тесноватой столовой, из экономии освещенной единственной сальной свечой, упорных тружеников ждет сытный ужин совместно с матерью Мари Луиз и сестрами Гильберт, Лизетт, Фаншон, Бекасс и Тонтон. Лишь окончивши ужин, степенный, неторопли-

вый, перейдя в такую же небольшую гостиную, согретую жаром камина, освещенную несколькими свечами, чтобы каждый член почтенной семьи имел возможность свободно предаться своим увлечениям, можно наконец отдохнуть и развлечься. Пьер Огюстен может немного поиграть на виоле, на флейте, на арфе, однако не очень громко, чтобы не мешать никому. Кроме того, он может что-нибудь почитать.

Впрочем, обыкновенно в этом счастливом семействе читают все вместе, по очереди, сменяя друг друга, громко, отчетливо, вслух, чтобы слышали все остальные. С самым большим вниманием, интересом, восторгом и даже почтением в семействе Каронов относятся к английскому писателю Ричардсону, что свидетельствует, во-первых, о том, что все члены семьи хорошо владеют английским, хотя непонятно, каким образом они этому языку научились, а во-вторых, ещё и о том, что в семье остается ничем не затронутым, ненарушимым запретный дух кальвинизма, поскольку откровенная мораль англичанина Ричардсона, воплощенная в его знаменитых, наделавших страшного шума романах, является ничем иным, как суровой и прочной моралью английского пуританства, которая, чтобы у читателей не возникло ни малейших сомнений, утверждается прямо в названии:

«Памела, или награжденная добродетель; ряд дружеских писем молодой прекрасной особы к своим родным, изданных с целью развития правил добродетели и религии в душе молодых людей обоего пола; сочинение это основано на истинном происшествии, дает приятное занятие уму разнообразием любопытных и трогательных приключений и вполне очищено от таких изображений, которые в большей части сочинений, написанных для простого развлечения, имеют целью только воспламенить сердце, вместо того, чтобы его поучать».

Ричардсон, типографщик, сын столяра, суровый и мрачный на вид, живет исключительно скромной, неприметной, строго добродетельной жизнью честного труженика и потому не питает особого интереса ни к великим событиям прошлого, ни к героическим личностям, прогремевшим в веках. Этот английский прозаик передает таким же скромным читателям обыкновенные чувства простого, ничем не приметного, кроме отличнейших добродетелей, честного человека, его тихие радости, его не менее тихие горести и в особенности его несокрушимую стойкость в любых испытаниях, которая дается, по его убеждению, только чистой совестью, высотой нравственных принципов и верностью долгу. Памела, бедная девушка, простое и доброе существо, стойко сопротивляется всем нечистым притязаниям своего богатого господина, сносит унижения, оскорбления, даже побои, однако сохраняет в целостности свою добродетель. Правда, его Кларисса уступает гнусным домогательствам развращенного, циничного Ловеласа, по наивности доверившись его благородству, но, обнаружив, что её обманули, мучается горьким раскаянием и наконец умирает, не в силах сносить свой неискупимый позор.

Вся трудовая Англия, а за ней вся трудовая Франция и вся трудовая Европа с непостижимой жадностью глотают этот громадный и для вкуса нашего времени довольно скучный роман, а так как роман пишется долго и публикуется по частям, с ним начинают твориться прямо невероятные, к сожалению, абсолютно не знакомые нашему циничному и меркантильному времени вещи.

Сведения о здоровье бедной Клариссы передаются из уст в уста как самая важная новость. Простые труженики, все эти ремесленники, производящие ткани, иглы, ножи, часы, посуду и всякую всячину, молят Бога о выздоровлении несчастной Клариссы. Дамы общества умоляют неумолимого автора спасти грешную душу Клариссы, ведь все они сами слишком грешны. Министры, прежде чем отправиться на доклад к королю, заворачивают в скромный дом Ричардсона, чтобы справиться у него, как поживает мисс Клари, поскольку король может об этом спросить.

Что удивительного в том, что Андре Шарль Карон, один раз уже разочаровавшийся в своем единственном сыне, имевший к тому же пять дочерей, которые одна за другой приближаются к тому же опасному возрасту, когда им угрожает горькая участь Памелы или даже Кла-

риссы, культивирует в своем семействе чтение этих глубоко поучительных, в высшей степени полезных романов?

В этом я не нахожу ничего удивительного, на его месте точно так же поступил бы каждый отец, если он заботится о нравственности своих дочерей. Однако удивительно то, что чистый свет этих глубоко добродетельных героинь Ричардсона впоследствии упадет на совсем на них не похожих, более живых и даже развязных героинь Бомарше, которого не только его современники, но и многие его почитатели позднейших времен обвинят чуть не во всех возможных грехах, может быть, оттого, что он слишком смел, слишком неординарен и ярок для них.

Приблизительно так семейство проводит будние вечера. Исключение составляют только воскресные дни. Разумеется, утром семейство в полном составе отправляется к ранней обедне, непременно пешком, не из одной экономии средств, а главным образом ради того, чтобы вся улица знала, как ревностно они соблюдают порядки и правила католической веры. В церкви они отдают дань приличиям, защищая себя и свою неугасшую тайную веру от посягательства неумолимых властей. Зато после обедни, воротившись домой, они предаются веселью. Всё семейство Андре Шарля Карона необычайно одарено, за исключением, может быть, одной матери Мари Луиз. Здесь все поэты, все актеры и музыканты. С веселым шумом разбирают они свои инструменты, разыгрывают любимые мелодии, распевают любимые арии Люлли, Рамо и Скарлатти или принимаются за постановку какой-нибудь пьесы, приблизительно с таким же сюжетом, как в «Памеле» или «Клариссе» любимого Ричардсона, и тогда в один прекрасный день в счастливом доме Каронов ко всеобщему удовольствию дается спектакль. Когда же прискучивает музыка и разучиванье ролей, они просто дурачатся, и всё в доме заливается беспечным жизнерадостным смехом.

Можно бы было сказать, опираясь на эти достоверные сведения, что Пьер Огюстен довольно легко вошел в труднейшую роль исполнительного, послушного сына, смирился с предначертанной ему участью вполне заурядного человека и счастлив вполне, как смирился с той же участью и вполне счастлив его глубоко порядочный, добродетельный, трудолюбивый отец.

Только это не так. Своим здравомыслящим договором добродетельному отцу не удастся утихомирить и покорить непокорного сына. Утихомирится Пьер Огюстен только внешне, точно так же, как сам Андре Шарль только внешне исполняет ненавистные обряды католической веры. Больше того, замечательный договор, продиктованный сыну отцом, имеет самые неожиданные, в высшей степени благодетельные последствия. Не исключено, что, не будь договора, Пьер Огюстен очень скоро стал бы отъявленным шалопаем, несчастьем, позором трудолюбивой семьи или в самом деле, выдурившись с годами, смирился бы с почтенной участью обыкновенного человека.

После того, как он подписал договор, ему не дано ни того, ни другого. Договор, заключенный с отцом, слишком больно уязвил его огромное самолюбие. На карту оказалась поставлена честь. Уж если он торжественно обещал сделаться первым в своем мастерстве, он должен сделаться первым, в противном случае он не сможет себя уважать, а существует ли более здоровый и сильный стимул для творчества, чем это присущее каждому смертному вечно гложущее желание себя уважать? Могут утверждать, что более здорового и могучего стимула для творчества не существует. Кроме того, отец, сам не подозревая об этом, своим договором укачивает сыну на то, что необходимо заработать немалые деньги, чтобы вырваться на свободу и разорвать договор, кабальный по своему существу, то есть опять-таки надлежит сделаться первым мастером в своем ремесле. Наконец договор собирает и концентрирует все духовные силы виноватого сына в одном направлении, поскольку все шесть статей не позволяют ему даже глазом моргнуть, не то что рассеяться хотя бы на час и заняться чем-нибудь посторонним, не касающимся до его ремесла. В таких жестких условиях все его возможности должны развернуться, все его дарования должны расцвести, иного выхода у него просто-напросто нет.

Пьер Огюстен притиснут к стене, и сила противодействия должна оказаться намного больше той силы, которая сковала его.

Вот почему все эти неприметные, однообразные годы внешнего смирения и внешней покорности, все эти неторопливые годы добросовестного исполнения взятых на себя обязательств Пьер Огюстен не просто старательно трудится в мастерской, способствуя обогащению рачительного отца, не просто со всем возможным вниманием овладевает наследственным ремеслом. Его сжигает жажда реванша. Он во что бы то ни стало должен доказать своему строго надзирающему отцу, что он не только способен его за пояс заткнуть, но и всех прочих часовщиков вместе взятых заставит о себе говорить, он всем им ещё покажет себя.

С такой воинственной целью он пристально вглядывается в каждый часовой механизм, продумывает назначение каждого колесика, каждой пружинки, наблюдает за каждым движением стрелок, чуть ли не во сне видит весь механизм. Его обостренное внимание, разумеется, не может не обратиться на то, что любые часы самых разных систем, которые изготавливаются уже несколько столетий подряд, не показывают хотя бы приблизительно точного времени. Все часы врут. Причем серьезно, значительно врут. Отстают или убегают вперед. На час или два. Самое меньшее на полчаса. На такие часы положиться нельзя, особенно если вы деловой человек, и никто во всей тогдашней Европе не в состоянии изготовить более точных часов. К этому надо прибавить ещё, что все так называемые карманные часы имеют форму луковицы или бильярдного шара, то есть ужасно громоздки и малоудобны для повседневного пользования. Стало быть, есть над чем голову поломать юному дарованию, есть громаднейшая задача, которую так заманчиво, так почетно решить.

Постоянное напряжение беспокойного духа, предельная сосредоточенность внимания, энергии и ума не могут не привести к желанному результату. Это закон. Больше того, это непреложный закон, которым, инстинктивно или сознательно, пользуются все те, кто стремится вырваться из однообразных рядов заурядности.

И вот однажды Пьер Огюстен, молодой человек девятнадцати лет, изобретает знаменитый анкерный спуск, который одним ударом разрешает обе задачи: он позволяет добиваться поразительной точности часового механизма до минут, а затем до секунд и даже долей секунды, это с одной стороны, а с другой, он позволяет изготавливать часы плоскими, так что отныне часы легко вкладываются в крохотный жилетный карманчик или удобно помещаются на запястье руки, о чем самые прославленные часовщики всей Европы не могли тогда и мечтать. Само собой разумеется, изобретателя за углом ждет громкая слава и, конечно, богатство, поскольку такие часы не могут не пойти нарасхват.

Однако изобретения приходят, можно сказать, сами собой. В одно мгновение, отчего-то предпочтенное творческой мыслью, они осеняют жадно ищущий ум. Бац – и готово! Ещё минуту назад не было ничего, и вдруг становится очевидной прежде неведомая, невероятная вещь, причем такого рода прозрения нередко посещают даже во сне.

Беда заключается в том, что таким чудодейственным образом прозревается только идея открытия, которую ещё необходимо развить, дается в руки зерно, которому ещё надо, после тщательного ухода, набухнуть, набраться соков и прорасти. Если для любого изобретения, для любого открытия необходимы творческий ум и сосредоточенность творящего духа, то для разработки идеи открытия, для проращивания зерна необходимы настойчивость, сноровка и мастерство, другими словами необходимы недели, месяцы, нередко целые годы кропотливейшего труда, вереницы проб, ошибок и проб.

В этот именно миг, когда идея анкерного спуска уже рождена, обнаруживается, что шесть статей сурового договора, подписанного с отцом, в течение пяти лет сделали свое доброе дело. Отныне Пьер Огюстен не страшится никакого труда. Не страшится тем более, когда, поразившись, испугавшись, успокоившись, поразмыслив, осознает, какого рода открытие он совершил и какие необъятные перспективы открываются для него впереди. Окрыленный, подстеги-

ваемый самыми фантастическими надеждами, он принимается за кропотливый, вседневный, доводящий нередко до изнеможения труд. Он пробует, отвергает и пробует вновь. Он испытывает. Он проводит разнообразные опыты со своими часами, в которых целых восемь деталей заменяет одной.

И похоже, что все эти опыты он прodelывает тайком от отца. Видать, в его самолюбивой душе слишком глубоко засела обида, даже после того, как ему, повзрослевшему, ставшему проницательней, сделалось ясным, что отец, забрав его в ежовые рукавицы, был со всех сторон прав. Ему хочется выложить на стол перед ним полностью готовый, отлично отлаженный механизм, так сказать, ошарашить матерого мастера, разыграть театральный эффект, чтобы как можно полнее насладиться победой.

Вероятно, эта ноющая обида и на отца и на себя самого, да ещё распаленное самолюбие, да ещё великолепная гордость изобретателя приводит его к тяжелейшей ошибке, грозящей превратить ещё не достигнутую победу в непростительно-позорное поражение. Как ни верти, ему все-таки нужен советчик, который бы оценил его труд и помог разобраться кое в каких мелочах, пока не дающихся в нетерпеливые руки, а этот советчик, как на грех, оказывается у него под рукой.

В мастерскую Карона, завоевавшую известность среди парижан добросовестностью и тщательностью изготовления, время от времени заглядывает Жан Андре Лепот, часовщик короля, тоже изобретатель, недавно изготовивший для Люксембургского дворца первые горизонтальные стенные часы, что само по себе очень и очень немало. Разумеется, часовщик самого короля знаменит, имеет кучу богатейших придворных заказчиков и как будто не имеет нужды якшаться со своими собратьями по ремеслу. Однако у Лепота хотя и любознательная, но испорченная натура, у меня лично возникают сомнения, сам ли он придумал эти горизонтальные стенные часы, установленные им в Люксембургском дворце, не было ли тут какой-нибудь темной истории, в какую вот-вот попадет и доверчивый Пьер Огюстен. Лепот рыщет по мастерским своих сотоварищей, безвестных и скромных, с явной целью что-нибудь подсмотреть и ловко прибрать к своим беззастенчиво-цепким рукам, иначе никак нельзя объяснить, с какой иной целью высоко вознесенный часовщик короля, поставщик всех придворных Версаля трется в доме заурядных парижских ремесленников.

Именно этому жулику Пьер Огюстен в конце концов доверяет свой бесценный анкерный спуск. Лепот отзывается о нем одобрительно, что, разумеется, придает молодому изобретателю твердости духа. Проводятся новые испытания. Часы Пьера Огюстена и часы самого Лепота закладываются в деревянные ящики, закрываются и опечатываются, чтобы обеспечить невозможную чистоту испытания. Два дня спустя оба ящика открывают и обнаруживают, что часы с анкерным спуском дают отклонение не больше минуты, тогда как изготовленные королевским часовщиком в сравнении с ними представляются чуть ли не хламом. Лукавый Лепот просит одолжить ему на некоторое время анкерный спуск, чтобы обстоятельно изучить и исследовать его на досуге, а затем дать окончательную оценку профессионала. Доверчивый Пьер Огюстен вручает ему один изготовленный, уже десятки раз испытанный экземпляр.

Далее опытный жулик действует так, как обыкновенно действует жулик, то есть вкладывает чужую деталь в другие часы и, ни разу не покраснев, величайшее изобретение присваивает себе, о чем незамедлительно доводит до сведения редакцию «Меркюр де Франс», тогдашней официальной газеты, и газета, в свою очередь, на другой день доводит до сведения читателей:

«Мсье Лепот представил недавно его величеству часы, только что им изготовленные, главное достоинство которых заключается в спуске...»

Натурально, в парижском обществе поднимается шум. Новоявленного изобретателя поздравляют. Новоявленный изобретатель, будучи академиком, делает сообщение в заседании Академии:

«Я нашел способ полностью устранить костылек и контркостылек, состоящий, как известно, из восьми деталей, поместив один из стержней в личинку стойки. Таким образом спуск предохраняется от опрокидывания...»

Тут возникает законный вопрос, нет, не о том, как он посмел, поскольку все жулики удивительно смелы на присвоение чужого добра, если оно плоховато лежит, но о том, почему жулик действует с такой наглостью, так откровенно, точно на него не существует никакого суда. Ответ прост: именно потому, что на жулика, если он часовщик короля, не существует никакого суда. К тому же Лепот поступает очень неглупо, поднеся первые же сварганенные с анкерным спуском часы королю, а затем сделав сообщение перед ученым ареопагом, тем самым дважды и крайне надежно закрепив приоритет за собой. Находчивый человек! Палец в рот не клади!

Прямая противоположность ему, честнейший, добродетельный Пьер Огюстен, воспитанный в духе пуританских проповедей английского писателя Ричардсона, абсолютно беспомощен перед пороком, подобно Памеле или Клариссе. Так грубо обманутый человеком, который блистательно разыграл полезную роль его верного друга, обворованный среди белого дня, он не может ничего предпринять. Никакой королевский суд не возьмется за его очевидное дело, поскольку в это дело замешан часовщик короля, да если вдруг и возьмется, опытный жулик тотчас представит неопровержимые доказательства своей правоты, начиная с этих самых горизонтальных часов, кончая авторитетным суждением Академии и молчаливым свидетельством короля, тогда как молодой безвестный ремесленник с улицы Сен-Дени не сможет представить никаких доказательств. Ещё меньше шансов имеет жалоба на имя самого короля, который уже носит в кармане часы, изготовленные Лепотом, а потому истина для короля очевидна: изобретатель Лепот.

Благоразумие требует отступить, поскольку Пьер Огюстен заранее проиграл свое правое дело. В сто, в тысячу раз больше смысла вновь погрузиться в загадочный часовой механизм и усовершенствовать ещё что-нибудь, чем тягаться с наглым мошенником, состоящим под высоким покровительством короля.

Однако у молодого часовщика на эту карту поставлено всё. Он не только обманут, предан и оскорблен в своих лучших чувствах. Поругана его честь, так прекрасно отшлифованная многолетними стараниями отца, в нем унижено достоинство человека, упроченное проповедями английского писателя Ричардсона, он обязан себя защитить, подобно тому, как свою честь и достоинство человека защищала Памела, которая стойко сражалась на глазах всей Европы против бесчестия. Больше того, разодраны в клочья его блистательные надежды, проваливается в тартарары тот неотразимый сюрприз, который он готовил отцу, чтобы не только окончательно перед ним обелиться, но и возвыситься в отцовских глазах, поскольку договор всё ещё в силе и отец до сих пор ничего не забыл. Наконец, у него среди бела дня украдены громадные деньги, которые он мог и должен был заработать на анкерном спуске, а вместе с громадными деньгами украдена его бесценная независимость, которая для него всегда была и навсегда останется выше всего.

Ему необходимо что-нибудь предпринять, этого требует всё его существо, и вот Пьер Огюстен строгим аналитическим взором изобретателя вглядывается снова и снова в это со всех сторон безнадежное дело. В этом деле не за что зацепиться и аналитическому уму, тут хоть слезы лей, хоть криком кричи. Разве только одно: жулик Лепот, твердо уверенный в полнейшей своей безнаказанности, действует слишком уж нагло, слишком бесцеремонно, так что в наглости, в бесцеремонности таится его единственное уязвимое место, Впрочем, уязвимым оно станет при одном непременно условии: если бы в королевской Франции существовал общественный суд, приговор общественного мнения, который в странах свободных подчас бывает страшнее уголовного наказания. Однако в королевской Франции именно никакого общественного мнения, никакого общественного суда не существует, нет и в помине, так что наделенные

всеми привилегиями и предпочтениями жулики творят всё, что им вздумается, не опасаясь не то что косога взгляда или намека, но даже в лицо брошенных слов осуждения.

И тут, под давлением обстоятельств, не только враждебных, но прямо неодолимых, в душе молодого часовщика пробуждается страшная сила противодействия, способная всё сокрушить. Он должен предпринять невозможное, и следом за анкерным спуском Пьер Огюстен совершает ещё одно блистательное открытие, куда более важное, имеющее далеко идущие социальные и политические последствия, чем предпринятая им революция в часовом механизме: если общественное мнение отсутствует, его необходимо изобрести. И он создает общественное мнение из ничего.

Пятнадцатого ноября 1753 года, спустя две недели после коротенькой заметки Лепота, в той же официальной газете «Меркюр де Франс», появляется обстоятельное письмо, которое невозможно не привести целиком:

«С неописуемым удивлением я прочел, сударь, в вашем номере от сентября 1753 года, что мсье Лепот, часовщик Люксембургского дворца, сообщает, как о своем изобретении, о новом спуске для стенных и карманных часов, который он, по его словам, имел честь представить королю и Академии.

«Мне слишком важно в интересах истины и моей собственной репутации отстоять свое авторство на изобретение этого механизма, чтобы я мог промолчать по поводу подобной неточности.

«Действительно, 23 июля сего года, обрадованный своим открытием, я имел слабость верить этот спуск мсье Лепоту, чтобы он мог установить его в стенных часах, заказанных ему мсье де Жюльеном, притом он заверил меня, что никто не сможет взглянуть внутрь этих часов, поскольку он снабжает их воздушным заводом, придуманным им, и ключ от часов будет только у него.

«Мог ли я помыслить, что мсье Лепот сочтет должным присвоить спуск, который, как это видно, я доверил ему под печатью секрета.

«Я отнюдь не желаю поразить публику, и в мое намерение не входит перетянуть её на мою сторону простым изложением событий; однако я настоятельно умоляю её не верить на слово мсье Лепоту, пока Академия не рассудит наш спор, решив, кто из нас двоих создатель нового спуска. Мсье Лепот, кажется, желает уклониться от разбирательства, заявив, что его спуск, которого я не видел, ничуть не похож на мой; однако, судя по анонсу, я прихожу к выводу, что принцип действия у него в точности тот же, и если лица, уполномоченные Академией выслушать нас, найдут, несмотря на это, какие-либо различия, оные будут объясняться лишь отдельными пороками конструкции, которые только помогут обнаружить плагиат.

«я не обнаружую теперь моих доказательств, необходимо, чтобы они были представлены уполномоченным Академии в своей первоизданной силе; поэтому, что бы ни говорил и ни писал против меня мсье Лепот, я буду хранить неколебимое молчание, пока Академия не просветится на этот счет и не произнесет свой приговор.

«Пусть здравомыслящая публика наберется терпения; я рассчитываю, что справедливость и покровительство, неизменно ею оказываемые искусствам, обеспечат мне эту милость. Осмелюсь льстить себя надеждой, сударь, что вы сочтете возможным опубликовать это письмо в вашем следующем выпуске...»

Ниже следует подпись, которую тоже любопытно привести целиком:

«Карон-сын, часовщик, улица Сен-Дени, подле церкви Святой Екатерины».

Обратите внимание, что именно публика призывается этим письмом сделаться высшим судьей, и публика поневоле становится им, даже ещё не пробудившись от глубокого сна, в который её неизбежно погружает бесправие, ещё даже не подозревая о том, что она, эта публика, в действительности и есть высший суд. Лепоту не оставляется возможности промолчать, поскольку по профессии он часовщик и его благосостояние хотя бы отчасти зависит опять

же от мнения публики, то есть заказчика, а какой же благоразумный заказчик вверит свои деньги отпетому жулику, уличенному официальной газетой, тем более деньги немалые, каких в те времена стоят часы, и сам король впредь поостережется выступить в роли заказчика, пока Лепотом не будет смыто пятно обвинения в воровстве. Академии тоже нельзя сделать вид, что она в стороне, поскольку проныра Лепот состоит её членом и тень позора, упавшая на Лепота, падает также и на нее. Как видите, удар наносится не только с отчаянным мужеством, но и с неожиданным мастерством, наносится расчетливо, сильным умом и действительно в единственно слабое место. Академия принуждена образовать комиссию для разбирательства этого неприятного дела, Лепот принужден представить свои доказательства, тогда как не имеет никаких доказательств.

Разумеется, Академии, этой наиболее консервативной организации в сфере наук и искусств, не очень-то хочется выдавать головой одного из коллег, и какое-то время ей удастся тянуть канитель, но в том-то и дело, что незримая, пусть и сонная публика ждет, и спустя три месяца после публикации в официальной газете Академия все-таки выносит свой приговор:

«Выслушав доклад гг. Камю и де Монтильи, уполномоченных расследовать спор, возникший между господами Кароном и Лепотом в связи со спуском, на изобретение которого оба они притязают, представленный на суд Академии господином графом де Сен Флорантемом, Академия пришла 15 февраля сего года к заключению, что истинным создателем нового часового спуска следует считать господина Карона, господин же Лепот лишь скопировал изобретение; что спуск для стенных часов, представленный в Академию 4 августа прошлого года господином Лепотом, – естественное развитие принципа часового спуска господина Карона...»

Мудрые академики избегают такого юридически верного определения, как воровство, и лукаво затемняют суть происшествия таким неопределенным понятием, как вполне безобидное и дозволенное копирование, но они все-таки устанавливают подлинность авторства и приговаривают при этом, что не менее важно в сложившихся обстоятельствах, что изобретенный Пьером Огюстеном Кароном анкерный спуск является наиболее совершенным из всех, какие до той поры применялись в часах.

Впрочем, все эти тонкости касаются лично Пьера Огюстена Карона и вполне безразличны французскому обществу, которое не знает никакого Карона, да, по правде, сказать, не желает и знать. В этом первом столкновении с зарвавшимся королевским прислужкой Пьер Огюстен защищает только себя самого, и ему удается себя защитить, блистательно защитить, этого нельзя не признать. Но тут впервые проступает наружу одно его необыкновенное свойство: всякий раз, когда он защищает себя самого, свое достоинство, свою честь, он делает это с такой сокрушительной силой, что поневоле, часто нисколько не заботясь об этом, защищает других, защищает достоинство и честь той большей части французов, гражданские и человеческие права которых всюду поруганы, попорчены, втоптаны в грязь. В системе торжествующего бесправия он пробивает крохотное окошко, сквозь которое на свет божий вырывается новая, никаким королям и тиранам не подвластная сила. Общественное мнение, ещё пассивное, ещё безъязыкое, всё же оказывается на его стороне. Никто персональным указом не смещает Лепота, публично уличенного в воровстве, никто формально не предъявляет ему обвинения и не осуждает его по такой-то статье уголовного кодекса. Лепот всего лишь осмеян и клеймен смело и выразительно сочиненной газетной статьей. Лепот не убит, не упрятан в Бастилию. Лепот всего лишь скомпрометирован тем, что скопировал чужое открытие, и только благодаря этому малоприметному происшествию Лепоту приходится оставить свою превосходную должность, перестать бывать при дворе и с той поры провалиться в безвестность. Что же произошло? Произошло единственно то, что отныне по примеру молодого часовщика с улицы Сен-Дени любой ошельмованный или обворованный подданный французского короля может обратиться за помощью в ту же инстанцию и добиваться восстановления в этой инстанции своих гражданских и человеческих прав. Пусть далеко не каждый решится, тем более далеко не каждый

сумеет воспользоваться этой инстанцией, поскольку далеко не каждый так дерзок и смел и с таким искусством владеет пером, но такая возможность отныне у каждого есть.

Таким образом, в один день, четвертого марта 1754 года, когда «Меркюр де Франс» публикует благоприятное заключение Академии, граждане Франции получают и анкерный спуск, и новое оружие в борьбе за права гражданина и человека, пользоваться которым, надо правду сказать, граждане Франции научатся очень нескоро.

## Глава третья

### Среди волков и гиен

Разумеется, неожиданная, поспешная, принужденно-добровольная отставка Лепота наделала много шума в королевском дворце. Скучающий Людовик XV, вечно жаждущий развлечений, от души забавляется этой историей и тут же передает молодому часовщику свое августейшее пожелание иметь часы с этим новым приспособлением, которое так хорошо, что его попытались украсть, лучшая репутация в глазах не одного короля.

Как ни радужны были надежды молодого изобретателя, пока он корпел за отцовским столом в его мастерской, такого подарка судьбы он, конечно, не ожидал. Натурально, от возбуждения Пьер Огюстен не спит по ночам и целыми днями не разгибается над своим верстаком, уже не обращая внимания на второй пункт из договора с отцом, который обязывает трудиться лишь с раннего утра до темна, уже собственной волей готовый трудиться круглые сутки, лишь бы с предельным искусством исполнить королевский заказ, и королевский заказ исполняется с удивительной быстротой.

Неизвестно, жаждет ли Пьер Огюстен сам передать изготовленный механизм в собственные руки монарха. Во всяком случае, у меня под рукой не имеется никаких доказательств, чтобы в свои двадцать два года он намеревался блистать при дворе. Его намерения куда более скромны, в полном соответствии с суровой, сдержанной, по-своему величественной протестантской моралью: он жаждет личной свободы, независимого образа жизни и возможности обогатиться от своих неустанных трудов. Для чего ему абсолютно чужая, совершенно незнакомая придворная жизнь, о которой ни одного доброго слова не говорит сам любимый им Ричардсон? Скорее всего, он пытается передать исполненный королевский заказ тем же путем, каким его получил.

Однако пропадающему от кромешной скуки монарху забавно взглянуть на этого молодца, так ловко насолившего одному из его придворных лакеев, до которых королю дела, естественно, нет и которых королю нисколько не жаль, так что он едва ли даже помнит этого презренного Жана Андре Лепота в лицо.

Не иначе как по капризному зову самого короля, благословленный родителями, конечно, довольными оказанной милостью, но едва ли счастливыми, поскольку при этом распутном дворе соблазны на каждом шагу, а их мальчик так ещё молод, так склонен к соблазнам, так нестоек душой, Пьер Огюстен является во дворец, может быть, в Люксембургский, украшенный горизонтальными часами Лепота, а может быть, и в Версаль, поскольку давно весна на дворе.

И вот они впервые стоят друг против друга, великий монарх и безвестный ремесленник, преждевременно стареющий, обрюзгший, закоренелый в оголтелом разврате мужчина со следами всех пороков на высокомерном лице и крепкий, пышущий отменным здоровьем, воспитанный в строжайшей добродетели молодой человек с открытым взглядом честнейших пронизательных глаз, коронованный бездельник, не имеющий представления о том, как скоротать пустые часы бесконечного дня, если день не занят охотой, травлей зверей или девочками, неуклонно ведущий прекрасную Францию к катастрофе инфляции, обнищания и бунта всего податного сословия, и добросовестный труженик, не имеющий ни минуты свободного времени, чтобы тихим вечером выбраться за городские ворота и побродить в полях или рощах с девчонкой, которые сами отчего-то так и липнут к нему, будущий великий комедиограф, слава Франции, человек, который открыто взбунтуется первым и своим бунтом окрылит остальных, жаждущих получить неделимые, неурезанные права человека и гражданина, грязный распутник и свежий юноша, воспитанный в правилах самой строгой морали, католик, не верящий ни во что, и своей вере преданный несмотря ни на что протестант. В сущности, они оба делают одно

всемирной важности дело: они разрушают монархию, развеивают в пух и прах самый принцип абсолютизма, обесценивают идею тысячелетнего самовластия, один так запутав и запустив дела королевства, что распутать их не удастся уже никому, другой поднимая общественное мнение против абсолютизма, поскольку абсолютизм невозможен при общественном мнении, разве что в форме официального представительства, как уже почти сотню лет прозябает король в парламентской Англии. Ведь монархия, как и любой другой государственный, общественный строй, сам разрушает себя, тогда как его противники только ему помогают поскорее упасть.

Пока что оба ничего не знают об этом непреложном законе общественного развития. Король улыбается. Пьер Огюстен, согнувшись в ритуальном поклоне, протягивает изящный футляр с только что изготовленными часами, удобными, достаточно плоскими, каких ещё не имеет никто. Король разглядывает вещицу лениво и все-таки не может удержаться удивления, как он ни пресыщен, как ни искусен в лицемерии разного рода: часы замечательные, часы неправдоподобно малых размеров, часы пленяют его. Вероятно, Пьер Огюстен краснеет от удовольствия и смущения. Тем не менее молодой человек не теряет присутствия духа и объявляет достаточно громко, что часы могут быть ещё более плоскими и совсем небольшими, если, разумеется, его величеству будет угодно такие часы заказать. Его величеству, конечно, угодно.

Проносится ещё несколько тревожных дней и бессонных ночей. Пьер Огюстен вновь стоит перед королем и с поклоном протягивает новый изящный футляр. Король извлекает из футляра часы и вновь не может скрыть удивления: в самом деле, таких маленьких и плоских часов ещё не бывало на свете. Его величество приходит в великолепное расположение духа, что с течением времени с его величеством приключается всё реже и реже, поскольку несчастному повелителю Франции себя решительно нечем занять, точно его страна процветает и что ни день танцует от счастья. Его величеству приятно продлить удовольствие, а заодно какой-нибудь незначительной милостью поощрить старание удивительного умельца. Впрочем, его величеству ничего толкового не приходит на ум. Тогда его величество, привыкшее жить безответственно, внезапно оказывает простому ремесленнику высочайшую честь: его величество приглашает этого... как его... ах, да!.. мсье Карона присутствовать при его одевании.

Эта нелепая честь несоразмерна ни с чем, поскольку при утреннем одевании французского короля имеют право присутствовать одни герцоги, бароны и графы, да и то самых голубых, самых старинных кровей, ведущие свое родословие по меньшей мере от Хлодвига, или искуснейшие льстецы. Что Пьер Огюстен этой милостью потрясен, это, я думаю, понятно само собой. Я же хочу подчеркнуть, что он не напрашивался на эту чрезвычайную милость, что он вообще не стремится попасть ко двору, как ни расписывают его чрезмерно старательные биографы самыми чернейшими красками будто бы непомерное его честолюбие. Событие возникает само собой, и ни самое скромное, ни чрезмерное честолюбие тут не при чем. Его приглашают. Он обязан явиться. Он, конечно, является.

Ах, читатель, вы, естественно, ожидаете чего-то невероятного, великолепного, новой сказки, в духе расшитых роскошными цветами историй хитроумной Шахерезады. Как же, Версаль, король и черт знает что! В том-то и дело, что Версаль и король, грандиозный дворец, нарочно возведенный на пустом месте, вдали от Парижа, как символ могущества и бессмертия абсолютизма, который не нуждается ни в стране, ни в народе этой страны и существует сам по себе и из себя самого, и в этом грандиозном дворце жалкая, бестолковая личность, не способная созидать и накапливать, точно призванная свыше транжирить и разрушать, безвольный раб каждой юбки, позер, посредственный скоморох, играющий в великолепном дворце, обращенном им самим в балаган, непосильную роль всемогущего, непререкаемого владыки, бесталанный комедиант, у которого нет ни воли, ни творческой мысли, который живет только прихотями и для удовлетворения этих прихотей держит при себе три тысячи слуг, разодетых в дорогие ливреи, две тысячи лошадей на конюшнях, толпу придворных в коридорах и залах, разодетых, точно лакеи, в шелк и в парчу, украшенные брюссельскими кружевами, в перелив-

чатом блеске драгоценных камней, Версаль, живущий подлостью и интригами, и король интриган, выбирающий советников и министров, назначающий полководцев и иерархов церкви не по личным достоинствам, не по талантам, не по заслугам, твердости в вере и воинским подвигам, а по капризной прихоти мадам Помпадур, которую окружают искатели мест и льстецы, козни и происки, лицемерие и низкопоклонство, паразитизм и бездарность, разврат и порок, Версаль, отрешенный от мира, и король сибарит, променявший труд управления, непосильный ему, на бал, прием, маскарад, не способный серьезно увлечься ничем, озабоченный лишь предстоящей любовной интрижкой, которая завтра ему надоест.

Таким образом, молодой кальвинист, к тому времени научившийся и привыкший жить своими трудами, присутствует при одном из самых порочных, самых отвратительных зрелищ на свете. Притихшая толпа разодетых придворных в стройном порядке, предусмотренном особой статьёй этикета, ожидает пробуждения короля, толпа изнеженных, развращенных, осоловевших от безделья и пьянства ничтожеств, в пятом или шестом часу утра, когда Пьер Огюстен уже склоняется над рабочим столом, поднявшихся из-за карточного стола, выигравших или проигравших целое состояние, какого самый искусный, самый старательный часовой мастер никакими золотыми руками не заработает в целую жизнь, если даже станет трудиться круглые сутки. Каждый из этих бледных или бледно-зеленых оболтусов держит в руках какую-нибудь часть многосложного королевского туалета, кальсоны, подвязки или чулки, чтобы в должный, тщательно высчитанный момент передать эту бесценную вещь камердинеру короля, за что каждый из этих оболтусов, украшенных графским или герцогским титулом, получает из королевской казны громадную пенсию, которой вполне хватает на содержание особняка, толпы лакеев, экипажей, лошадей и любовниц.

В этой разряженной толпе лизоблюдов и паразитов, бездумно, нерасчетливо, нераскаянно разоряющих Францию, стоит благородный, нравственно безупречный и, я думаю, страшно изумленный ремесленник, не хуже этих оболтусов сознающий, что в этих покоях он лишний, абсолютно чужой человек. Разумеется, оболтусы и паразиты стерли бы его в порошок и развеяли бы его пепел по ветру, поскольку своим присутствием в королевских покоях он отбивает их единственный хлеб, однако, по странному, непредвиденному стечению обстоятельств, они не могут обойтись без этого розовощекого плечистого высокого парня, с прекрасной гибкой фигурой, с правильными чертами лица, с твердым взглядом карих пронизательных глаз, в которых против воли так и светится, так и горит превосходство над ними.

В том-то и дело: им не обойтись без него. Они просто жить не могут без таких же часов, какие этот парень изготовил и преподнес королю. В эту минуту в часах с новым спуском сосредоточивается их благополучие, их честь, их права, в первую очередь, бесценное право на самоуважение и уважение других. Конечно, было бы преувеличением, даже ложью сказать, что Пьер Огюстен порывается бежать из дворца, но если бы такая ересь все-таки пришла ему в голову, они бы силой удержали его. Они сами наперебой суются к нему. Заказы сыплются на него. Он не может и не хочет каждому из них отказать. Улыбаясь своей обаятельнейшей улыбкой, способной покорить даже статую, он извиняется, что не в состоянии исполнить все заказы в несколько дней, кому-то из господ графов и герцогов придется недельку-другую повременить. Тотчас образуется очередь, и все эти напыщенные графы и герцоги чуть не дерутся между собой, лишь бы опередить соперника хотя бы на шаг.

Однако им приходится потесниться, как стаду овец под окриком пастуха. К молодому ремесленнику приближается Жанн Антуанетт Пуассон маркиза де Помпадур, тридцатитрехлетняя самовлюбленная стерва, грязная шляха, стоящая прекрасной Франции дороже, чем эпидемия чумы или война, и хриловатым ласковым голосом произносит, что желала бы иметь самые маленькие часы, какие только в состоянии изготовить такой очаровательный молодой человек, причем очаровательный молодой человек не может не понимать, что в награду за эти самые маленькие часы королевская шляха способна лечь с ним в постель.

Помилуйте, какое тут честолюбие? Для какой надобности ему все эти шлюхи, паразиты и стервецы, на которых ему, плебею и труженику, противно глядеть? Ему бы поскорее воротиться в свою мастерскую! Однако он честный ремесленник. Долг его состоит в том, чтобы честно исполнить заказ. И он честно делает то, что ему заказали, при этом он уж никак не может изготовить какую-нибудь ординарную вещь, поскольку талант его пробудился, талант его жаждет дерзать.

И вновь он в блистательных мраморных залах Версаля в своем скромном зеленоватом камзоле и в аккуратном небольшом парике. На этот раз он буквально ошарашивает всю эту напыщенную толпу и в первую очередь маркизу де Помпадур, которую легче легкого вывести из себя, в такой степени она капризна и нетерпима к другим, но которую едва ли кому-нибудь удавалось чем-нибудь поразить: он подносит ей великолепно изготовленный перстень. Маркиза хмурится: на кой ей черт ещё один перстень, когда все шкатулки её переполнены этими побрякушками! Пьер Огюстен, обаятельно улыбаясь, довольно изящно указывает ей на крохотный циферблат, вделанный на месте алмаза. Маркиза восхищена. Подслеповатый король не верит глазам. Пьер Огюстен любезно протягивает его величеству свою рабочую лупу. Его величество восклицает:

– Да у этих часов всего четыре линии в диаметре!

– Вы правы, сир, это так.

– Но как же эти часы завести? Я не вижу ключа!

– Чтобы завести их на тридцать часов, достаточно повернуть один раз вокруг циферблата это золотое кольцо.

После такого шедевра таланта, ремесла и искусства заказы изливаются шумящим летним дождем. К тому же пышные празднества при дворе не имеют конца. Самые большие празднества затеваются в августе, когда, в двадцать третий день этого урожайного месяца, у Людовика XV наконец появляется законный наследник, дофин, будущий Людовик XV1, и продолжаются эти празднества весь сентябрь. Тут уж необходимы такие обновы, какими затмевают соперников, чтобы привлечь милостивые взоры маркизы де Помпадур или самого короля, и что может быть в таком случае привлекательней самых модных, самых изящных, замысловато и с прекрасной фантазией выполненных часов, новинки сезона?

Золотой поток устремляется в кассу мастерской на улице Сен-Дени, и надо сказать, что луидоры и ливры нисколько не смущают молодого изобретателя. Напротив, он умеет ценить золото по достоинству, поскольку именно золото наконец обеспечивает ему независимость. К тому же при виде этого золотого потока смягчается наконец и суровое сердце добродетельного отца. В глазах трудолюбивого мастера и верного протестанта обильный доход служит наилучшим доказательством не только ума, но и всех добродетелей, и достоинства, и чести, и прав человека. Прежний договор, оскорбительный для самолюбия взрослого сына, теперь аннулируется. Составляется новый, согласно с которым сын и отец отныне становятся равноправными компаньонами. Пьер Огюстен официально признается самостоятельным мастером в цехе парижских часовщиков. Он может считать себя отомщенным, если всё ещё помнит обиду, что очень сомнительно, поскольку по натуре он мягкий, отходчивый, незлопамятный человек. Половина мастерской передается ему, но, как и прежде, отец и сын работают вместе и, как можно предполагать, поровну делят хлынувшие к ним луидоры и ливры. Если до этого времени семейство Каронов пользовалось прочным достатком, то с этого дня в их доме запахло богатством.

Что касается соблазнов двора, то не имеется никаких доказательств, чтобы эти соблазны хоть сколько-нибудь привлекали молодого ремесленника, что не мешает его пристрастным биографам то и дело твердить о пресловутом его честолюбии, которое будто бы, точно могучий магнит, притягивает его ко двору. Честолюбие? Честолюбие у него, разумеется, есть. Однако это не плоское честолюбие жалкой посредственности, не честолюбие бездарной аристократии,

которое удовлетворяется выгодной должностью, пенсией, наградой и лентой, обольстительной близостью к особе монарха и ещё больше близостью к его потаскухе.

Его честолюбие особого рода: это честолюбие мастера, достигнувшего вершины своего мастерства, честолюбие творческой личности, способной совершить нечто такое, чего не совершал никто до нее. Такое честолюбие осуществляется не на шумных подмостках, не в приобретении громкого титула, не в проникновении в коридоры и залы дворца. Такое честолюбие осуществляется за рабочим станком, в мастерской, и Пьер Огюстен продолжает трудиться от утренней до вечерней зари и с большой неохотой появляется при дворе. Если бы его принуждали трудиться только заказы высокопоставленных лиц, только жажда как можно больше заработать на них, ему было бы легче копировать один или два экземпляра своих самых лучших часов, как это и делает постоянно обыкновенный ремесленник: версальские вертопрахи и модницы были бы довольны и копией.

Тем не менее этого холодного расчета, этого эгоистического равнодушия к своему ремеслу у него не появляется ни в эти первые дни неожиданного успеха, ни позднее. Пьер Огюстен не просто просиживает в своей мастерской с утра до вечерней звезды, штампуя изделия, более или менее похожие одно на другое, если не по внешнему виду, то по существу.

Каждый раз, исполняя новый заказ, он ломает голову и придумывает нечто особенное. Его новые часы всегда или почти всегда новый шедевр, мало чем сходный с предшественниками, и нынче необходима профессиональная кропотливая экспертиза, чтобы определить, что всё это разнообразие шедевров вышло из его мастерской, что перед нами действительно настоящий «карон». Что это доказывает? Это доказывает только одно: в своей мастерской Пьер Огюстен живет самой полной, самой подлинной жизнью. Его честолюбие мастера вполне удовлетворяется изготовлением очередного шедевра, а не возможностью ещё разок поддержать королевский чулок. Он является ко двору только в силу необходимости, чтобы вручить сиятельному заказчику готовый заказ и, разумеется, пожать пышные лавры, заслуженно осеняющие его мастерство, тем более что придворные лизоблюды не скупятся на похвалы, прекрасно помня о том, что этот молодой человек нынче в фаворе у короля и, что намного важнее, у самой маркизы де Помпадур, поскольку, всем это известно, она, а не король в действительности правит страной.

В самом деле, его лавры становятся что ни день, то пышней. Слухи о неподражаемом мастерстве господина Карона докатываются, естественно, до самых глухих закоулков дворца. В этих глухих закоулках, в отдаленных покоях прозябают никчемные королевские сестры, никому не нужные старые девы, лишённые права выйти замуж за кого-нибудь из отечественных дворян и не избранные разборчивыми иноземными принцами, ханжи и сквалыги, которых не посещает никто, которые только что не умирают от скуки, от тоски одиночества, для которых приобретение новомодных часов является необыкновенным событием, достойным долгого обсуждения, дающим обильную пищу пустому уму и давно зачерствелой душе.

В эти покои молодого человека приглашают и раз, и другой. Расторопный ремесленник, он приезжает, проделывая восемнадцать километров, отделяющих Версаль от Парижа, в допотопной карете, в «комнатном горшке», как именуют это сооружение злые девицы, которую они присылают за ним. Он, разумеется, кланяется и ждет приказаний. Однако скучающие девицы и сами не ведают, что приказать. Они галдят, перебивая друг друга, так что ничего невозможно понять. В сущности, они хотят одного: как можно дольше задержать нежданного посетителя, кто бы он ни был, лишь бы о чем-нибудь с ним говорить, а не сидеть сиднем у себя на задворках в одиночестве, в полном молчании или в перебранке между собой. Может быть, с этой целью они принимаются музицировать и невольно задевают в молодом человеке больную струну. К этому времени, неизвестно каким образом урывая часы для занятий, почти запрещенных строгим отцом, Пьер Огюстен играет не только на виоле и флейте, но также на варгане и тамбурине и успевает изобрести для арфы педаль, которую, так же, как анкерный спуск, между прочим

оставляет потомкам. Может ли он тут не показать своего мастерства? Конечно, не может. Он и показывает. Несчастные девицы приходят в дикий восторг. Натурально, им слишком мало наслаждаться одним. Погрязшие в мелких интригах двора, они жаждут любым способом привлечь к себе внимание беспечных придворных и с этой целью на один из импровизированных концертов нового виртуоза заманивают самого короля, причем неожиданно для всех происходит забавная путаница. Венценосец, конечно, сидит на каком-то лично для него предназначенном пуфе, тогда как прочим смертным полагается стоять перед ним на ногах. Прочие смертные и стоят в покорном смирении. Однако наступает момент продемонстрировать на этой самой обновленной арфе педаль, для чего изобретательному арфисту необходимо на чем-то сидеть. Поспешно оглядываются вокруг и отчего-то не обнаруживают никакого предмета, на который можно было бы сесть. Тогда король поднимается и придвигает арфисту свой пуф. Арфист, мало обеспокоенный этикетом, как ни в чем не бывало рассаживается в присутствии короля, тогда как король – боже мой! – стоит перед ним!

Понятное дело, в этот момент малоискушенный Пьер Огюстен совершает непростительную оплошность, невольно переступив все границы установленных строжайшим этикетом приличий, и этот случай с переходом пуфа из-под короля к музыканту является ещё одним доказательством, какой он скверный придворный и как его мало заботит, что подумают, что скажут о нем при дворе. Без малейших усилий с его стороны, прихотливым стечением будничных обстоятельств звезда его взмывает недосыгаемо высоко, поскольку на глазах избранного придворного круга ему оказывается невероятная честь.

А при королевском дворе всякая честь, выпавшая на долю другого, означает только одно: счастливчика убирают с пути, любыми средствами сживают со света, клеветают на него, опорочивают его честное имя, на худой конец убивают, придравшись к какому-нибудь пустяку и вызвав неосторожного на дуэль, колотят палками, как лет тридцать назад поколотили блистательного Вольтера, или аккуратнейшим образом препровождают в Бастилию, приобретя летр каше.

Правда, пока звезда избранника парит высоко, никто из придворных завистников не осмеливается на открытое нападение. Внезапного конкурента в придворной борьбе за награды и пенсии колют исподтишка и прежде всего разными обвиняками напоминают ему, что он всего-навсего мсье Карон, простолюдин, то есть лакей и холоп, которого презирают и которого согласны только сквозь зубы терпеть, если нет возможности высечь его или вышвырнуть вон.

По этому поводу рассказывают такой анекдот. Один из придворных болванов, обнаружив часовщика в многолюдной галерее Версаля, приближается к нему с вызывающим видом и говорить очень громко, чтобы его дерзкую шутку услышали все:

– Скажите, хороши ли эти часы?

Пьер Огюстен слишком умен, чтобы не разгадать, к какому оскорблению клонится эта с виду невинная просьба, и тоже громко, отчетливо говорит:

– Это не совсем мне удобно, с некоторого времени я стал неуклюж.

Ну, болван, разумеется, пристаёт, привлекает всё больше внимание, на то и болван:

– О, не откажите в любезности!

Тут Пьер Огюстен с готовностью принимает дорогие часы, открывает крышку, подносит к глазам, но внезапно выпускает из рук на мраморный пол, отчего великолепный инструмент в мгновение ока превращается в мусор, и говорит, отходя:

– Я вас предупреждал.

Из чего видно, что в молодом человеке пробуждается остроумие, чрезвычайно опасное само по себе, чуть не смертельное для разного рода болваном, однако опасное и для него самого, но он так искусно пользуется этим новым оружием, обороняя достоинство, что вскоре придворным любителям оскорбить и унижить простолюдина приходится замолчать, из опасе-

ния превратиться в посмешище у всех на глазах, что при дворе может оказаться много вреднее вызова на дуэль.

Что ж, приемов закулисных интриг у этой своры сколько угодно. Мелкая шушера из нетитулованных прихлебателей, которая не испытывает желания делиться ни с кем, поскольку ей жизненно дорого каждый кусок, брошенный ей королем, начинает понемногу его задирать, причем более откровенно и нагло, чем титулованные особы, посягая на его честь и достоинство, как это водится в стае голодных гиен. Необходимо здесь подчеркнуть, что Пьер Огюстен нисколько им не мешает, по своей охоте не посягая ни на какие места при дворе, вполне довольный своим, не получая ни одного ливра сверх обусловленной платы за труд, вполне удовлетворенный внушительными размерами этой оплаты. На него нападают заранее, на всякий случай отпихивая его, поскольку не могут представить себе, чтобы кто-нибудь не желал чего-нибудь выхлопотать у короля. Ему приходится защищаться, и в его характере это, может быть, самая замечательная черта: первым он никогда не наносит удар, зато ответный удар большей частью становится сокрушительным для того, кто напал на него.

На этот раз он принужден избрать выход из самых простых, не требующих ума и особенных дарований, зато наиболее убедительный для наглых, но трусоватых задир. Он нанимает учителя фехтования и в самое короткое время в совершенстве овладевает рапирой и тростью, последнее оружие не так наивно и неопасно, как может показаться человеку неискушенному, поскольку аристократическая публика, почитая унизительным для себя употреблять против плебеев боевое оружие, завела себе моду колотить неугодных плебеев и выскочек, всех этих часовщиков и обойщиков, лезущих ко двору, не чем иным, как именно тростью, что однажды и проделали прихвостни герцога де Роана с Вольтером, из чего видно, что не только с трудами, но и с жизнью Вольтера к этому времени Пьер Огюстен знаком хорошо.

Далее следует несколько поединков, и, как доносит молва, все его поединки оканчиваются смертельным исходом, поскольку придворные прихлебатели давно уже не похожи на воинственных мушкетеров, воспетых романтиком Александром Дюма, а скорее напоминают изнеженных дамочек эпохи распада, тогда как Пьер Огюстен ловок, широк в плечах и силен. Естественно, желание задирать столь успешного мастера смертоносных ударов вскорости пропадает.

Прибавляют при этом, что, по необходимости взяв на душу тяжкий грех самовольного лишения жизни и убедившись, что прочно обезопасил себя, Пьер Огюстен сам себе дает слово никогда впредь не обнажать боевого оружия, и действительно, впоследствии свое слово держит, даже тогда, когда подвергается нападению, о чем речь впереди.

Пока что он может облегченно вздохнуть.

Он и вздыхает.

Но тут внезапно меняется вся его жизнь.

## Глава четвертая

### Несчастье первого брака

Спустя приблизительно год после того, как Пьер Огюстен вводит в моду часы с анкерным спуском, плоские и малых размеров, когда более титулованные и обеспеченные заказчики порассосались, среди его менее титулованных и менее обеспеченных заказчиков объявляется Пьер Огюстен Франке, контролер трапезы при его королевском величестве, в обязанности которого входит сопровождать, исключительно по торжественным дням, блюдо с жарким, а в житейских делах поставщик одного из армейских полков, то есть человек все-таки обеспеченный, если скромно сказать, поскольку первостатейнейший вор, как все поставщики всех армейских полков, верно, такая особенная порода, что не могут не красть.

Очень может быть, что сам Пьер Огюстен Франке, человек весьма пожилой, к тому же страдающий каким-то тяжелым недугом, равнодушен к новомодным часам, однако этим скромным поставщиком всю командуется молодая жена, Мадлен Катрин, довольно красивая женщина, приблизительно тридцати пяти лет, так что поставщику приходится заказать часики для нее. По другим сведениям, Мадлен Катрин однажды сама является в мастерскую искусного мастера, чтобы отдать в починку часы, но это едва ли, потому что придворной даме не полагается посещать такие места, к тому же Мадлен Катрин вовсе не распутная девка, вроде маркизы де Помпадур, каких полным-полно при дворе, а добродетельная супруга, женщина искренне набожная и даже стыдливая.

Как бы там ни было, знакомство заказчицы с мастером состоялось. Нам достоверно известно, что Мадлен Катрин без промедления влюбляется в молодого часовщика, что называется, по уши, и её нетрудно понять, если принять во внимание, что её муж давно уже дряхлый старик, а Пьер Огюстен молод, строен, умен и так чарующе улыбается, что многие женщины от него без ума.

Остается не совсем ясным, как он поначалу относится к ней. Многие сомневаются, чтобы он её тоже любил, и задаются не совсем приличным вопросом, а не использовал ли он эту неосторожную женщину как ступень для удачи, как слепое орудие своего непомерного честолюбия или просто-напросто поступил с ней как опытный соблазнитель, искусный в этого рода делах? Приходится не без сожаленья признать, что все биографы положительно отвечают на эти порочащие великого человека запросы. А между тем никаких оснований для утвердительного ответа на эти запросы у биографов не имеется, кроме их собственных заблуждений скверной страсти непременно чернить великих людей.

Во-первых, никакой ступенью удачи, никаким орудием и самого малого честолюбия Мадлен Катрин не может служить, хотя бы уже потому, что должность её престарелого мужа при особе монарха не так значительна и почтенно, чтобы Пьер Огюстен, уже запросто входящий в покои дочерей короля, погнался за ней, тем более что такого рода должность нетрудно купить, и как ни соблазнительны поставки на армию, он слишком хорошо зарабатывает честным трудом, чтобы добровольно впасть в грех воровства, строго-настрога запрещенного суровой моралью Кальвина, и у нас не – имеется сведений, чтобы он когда-нибудь воровал, а самое главное заключается в том, что Пьер Огюстен Франке сам наслаждается своей должностью и своим воровством, и никому не дано знать, что он в ближайшее время помрет и таким образом очистит ее для любовника неверной супруги. Каким же образом можно сделать карьеру, приволокнувшись за супругой поставщика на армию и контролера жаркого для короля?

Теперь во-вторых, За Пьером Огюстеном прочно закрепилась малопочтенная репутация беспутного соблазнителя и жестокого ловеласа. Что касается его будущих походов, о них в своем месте придется особо сказать. Что касается этой первой, довольно мрачной истории, то никакой соблазнитель и ловелас из него просто не получается. Сами судите, Нам точно

известно, что приблизительно тринадцати лет он был страстно влюблен в девушку намного старше его, что само по себе делает любовные отношения довольно сомнительными. Но даже если между ними что-то и было, это была непродолжительная и чистая связь по любви. Далее нам тоже известно, что в четырнадцать лет непреклонный отец предлагает ему подписать договор, который несколькими статьями запрещает ему отлучаться из дома, а статья пятая прямо указывает на то, что отлучки и опоздания всякого рода станут вызывать у отца страшный гнев. Не может быть никакого сомнения в том, что, нарушая эту статью, отец давно бы порвал договор и выставил бы непокорного сына за дверь. Этого не случилось. Следовательно, сын не опаздывает, не отлучается и ведет себя благопристойно во всех отношениях. Известно также, что он трудится в мастерской от зари до зари, и трудится не только усердно, но ещё делает изобретение такой важности, что оно требует месяцев, даже лет усиленного труда, предположений и опытов, изготовления разного рода деталей, что скорее всего, исходя из крутого нрава отца, приходится частенько исполнять в нерабочее время, которого при таком жестком режиме остается очень и очень немного. Он же в это нерабочее время успевает выучиться виртуозной игре на пяти инструментах и приспособить к арфе педаль, которая тоже относится к разряду немаловажных изобретений, требующих труда и труда. В это же нерабочее время он успевает довольно много читать и становится заметно образованным человеком, во всяком случае достаточно образованным для того, чтобы сочинять письма в – газету и чем-то интересным занимать капризных принцесс. Спрашивается теперь, когда при такой феноменальной загруженности он успевает сделаться опытным соблазнителем? Разумеется, остается уповать на поговорку о свинье, которая всегда грязи найдет, однако Пьер Огюстен никогда в жизни не был свиньей и не испытывал желания валяться в грязи, воспитанье не то, да и Ричардсон на страже стоит, а Ричардсоном в протестантских семьях не шутят. Больше того, я никак не могу заглушить в себе подозрение, что к двадцати трем годам при таком воспитании и образе жизни он остается всё ещё девственником.

Во всяком случае, на Мадлен Катрин любовь обрушивается, точно жаркая буря в пустыне, и какое-то время спустя она с испугом, но твердо пишет ему: «Мой долг запрещает мне думать о ком-либо, а о Вас – более, чем о любом другом». И Пьер Огюстен хорошо понимает её, хотя она католичка, а он кальвинист. В его понимании узы брака священны, и он признается в ответ: «Когда я думаю о том, что он Ваш муж, что он принадлежит Вам, я могу лишь молча вздыхать и ждать, когда свершится воля Божия и мне будет дозволено дать Вам счастье, для которого Вы кажетесь мне предназначенной».

Следом за этим признанием обыкновенно дается циничный комментарий в таком приблизительно роде: «Соблазнитель вынужден подчиниться известным правилам, или он не соблазнитель. Напиши Пьер Огюстен мадам Франке дерзкое письмо, ему не видать бы её как своих ушей. Кому когда-нибудь удавалось пленить чье-либо сердце и плоть, не льстя природе этого человека? Впрочем, лаская душу Мадлен Катрин, наш прекрасный часовщик не замедлил найти путь к её постели...»

Из этого бесстыдного комментария видно только одно: сам комментатор принадлежит, без сомнения, к числу опытных соблазнителей и обыкновенно пленяет плоть и сердце при помощи грубой лести и лжи. Что касается молодого часовщика, то мне неизвестно, искал ли и нашел ли он кривую дорожку в чужую постель. Скорее всего, не искал, что более естественно для жаркого поклонника английского писателя Ричардсона и сына сословия, известного своей высокой и прочной моралью.

Достоверно известно, что где-то в конце октября 1755 года сам Пьер Огюстен Франке предлагает молодому часовщику свою придворную должность, предлагает за деньги, вполне в духе времени, когда придворными должностями торгуют, как селедкой на рынке, вполне понятный поступок для тяжело больного и в серьезных годах человека, которому становится трудно торжественно шествовать за королевским жарким. Зато остроумные комментаторы тут

же понимающе улыбаются и, нисколько не сомневаясь в своей правоте, уверяют доверчивого читателя, что именно соблазненная сердцем и плотью супруга подвигнула на этот необычайный поступок давно рогатого мужа, либо в подарок молодому любовнику, либо ради того, чтобы ему угодить.

Однако Пьеру Огюстену эта придворная должность решительно ничего не сулит, кроме возможности иногда дефилировать рядом с королевским жарким, поскольку никакой видимой или невидимой выгоды тут не имеется никакой, а от своих врагов он и так хорошо защищен, да и от кого может защитить такая смехотворная должность, даже и при дворе?

Более вероятно, что тяжело больной и дряхлый старик торопится обеспечить будущее супруги, которую, когда он умрет, в делах купли-продажи могут и обмануть. Франке предлагает должность купить, зная прекрасно, что у молодого часовщика завелись немалые деньги. Пьер Огюстен покупает, и сделка оформляется девятого ноября, покупает то, что не очень-то нужно ему. Для чего? Может быть, для того, чтобы сделать угодное той, которую искренне любит?

Как бы там ни было, события развиваются своей чередой, напроочь опровергая досужие домыслы комментаторов, причем развиваются довольно стремительно. Пьер Огюстен Франке избавляется от должности контролера в самое время, превратив её в наличные деньги. Он и в самом деле тяжело болен и стар, и дни его сочтены. Вскоре после оформления сделки он умирает, оставив наследство вдове, причем достоверных сведений о размерах наследства у нас не имеется. Вдова не очень долго отягощает себя соблюдением траура, что лишний раз – свидетельствует о том, что инициатива скорее всего последовала с её стороны, так уже через год после приобретения должности контролера королевских жарких, двадцать второго ноября 1756 года, приблизительно к своему двадцать пятому году, Пьер Огюстен Карон сочетается законным браком с овдовевшей Мадлен Катрин Франке. Именно вступление в брак могущественнее любых кривотолков свидетельствует о том, что в этой интимной истории не было никакого соблазнителя и никакой соблазненной, а была настоящая, доподлинная любовь как с той, так и с другой стороны.

Между тем неугомонные любители разного рода скользких сюжетов возражают кратким и малопривлекательным словом: карьера! Однако и для карьеры этот брак с какой-то далеко от дворцовых подмостков стоящей вдовой не имеет ни малейшего смысла. К тому же человек он достаточно обеспеченный, деньги сами по себе его не влекут, ещё никому не удалось уличить его в скупердяйстве и в скопидомстве, вдова же, явным образом опытная в делах, не включает его имя в брачный контракт, лишив своего более молодого супруга возможности получить в перспективе наследство. Должностью контролера королевских жарких он тоже овладел год назад, так что и ради должности, выходит, не надо было жениться.

Главное же заключается в том, что для придворной-то карьеры ему как раз не стоит жениться. При этом развратном дворе законный брак давным-давно вышел из моды, Истаскавший Людовик XV имеет несколько любовниц зараз. Примеру короля с большим удовольствием следуют его приближенные. Наконец падение нравов достигает предела, и супружество либо превращается в пустую формальность, либо в стыд и позор, любовная же связь всеми выставляется напоказ, как особого рода заслуга или отличие, так что верных супругов считают на единицы, и если они ещё существуют, то норовят сделать вид, будто никакого супружества нет, и прикидываются в обществе равных себе, что имеют любовников и любовниц. Таким образом, становится вполне непонятным, для чего необходимо венчаться, когда именно венчание скорее всего скомпрометирует его при дворе?

Обдумав всё это, я прихожу к убеждению, что Пьер Огюстен пылко любит свою Мадлен Катрин и, добываясь её, женившись на ней, нисколько не помышляет ни о выгоде, ни о несчастливой карьере. В его представлении, представлении тайного протестанта и явного поклонника английского писателя Ричардсона, воля Божья свершается и ему наконец дозволяется дать счастье той, которую любит и которая любит его, и если он ошибается, то ошибается

только в одном: его любимая не предназначена Богом для счастья. Напротив, его любимая разрушает счастье свое и счастье его, причем приступает к разрушению чуть ли не с первого дня супружеской жизни.

В семействе Каронов этот брак едва ли кого-нибудь приводит в восторг, так что, по всей вероятности, ни Андре Шарль не приглашает великовозрастную невестку в дом на улице Сен-Дени, ни сама невестка не испытывает никакого желания в доме на улице Сен-Дени поселиться. Мадлен Катрин тащит своего молодого супруга в свой дом на улице Бурдоне, и Пьер Огюстен, вероятно, не особенно упирается, поскольку ещё со дня подписания кабального договора с отцом мечтает получить независимость. Кроме того, чопорная Мадлен Катрин считает унижительным для себя, что её муж занимается изготовлением часов, и ему приходится отречься от своего ремесла, которое возвысило и обогатило его. Взамен она вручает ему в управление, однако не передает в собственность, свое наследственное поместье, которое именуется Бомарше, и вводит его в дела по поставкам, которыми занимался её покойный супруг.

Вырвавшийся наконец на свободу, избавленный от рабочего дня в двенадцать-пятнадцать часов, Пьер Огюстен с азартом принимается за то и другое. Насколько успешно он управляет имением, никаких достоверных сведений до нас не дошло. Что же касается поставок на армию, то тут сплетается забавнейшая история, которая опять-таки свидетельствует о том, если, конечно, она достоверна, что по жизни его ведут вовсе не мечты о карьере, не пошлый корыстный расчет, а нечто совершенно иное.

Разбирая бумаги покойного, он без труда обнаруживает, что покойный контролер королевских жарких был вор. Больше того, покойный входил в хорошо организованную шайку отпетых воров, которая изобретательно и с вдохновением грела руки на гнилом провианте и источенном молью солдатском сукне. Трудно сказать, насколько такое открытие его потрясло, но определенно в высшей степени поразило его то чрезвычайно странное обстоятельство, что отпетые воры не брезговали обворовывать и друг друга, чего по его понятиям честного человека быть не должно. В частности, выясняется, что, пользуясь, должно быть, старостью и тяжелой болезнью Пьера Огюстена Франке, члены воровской шайки недодавали ему кое-что, не очень помногу, а все-таки набегает приличная сумма.

Натурально, не существует никаких законных путей, чтобы эти суммы вырвать у жуликов, да и суммы не так велики, чтобы из-за них хлопотать. Однако Пьер Огюстен, воспитанный в правилах строжайшей протестантской морали, во что бы то ни стало желает восстановить справедливость. Тут ещё в первый раз обнаруживается его феноменальная изобретательность в ведении дел, которая лучше любых доказательств убеждает всякого непредвзятого человека в том, что никакой он не карьерист, не соблазнитель, не жулик, а замечательный артист и азартный игрок, не знающий меры в своих увлечениях, не способный свои фантазии укротить и соорудить плотину своим бурным страстям, как только речь заходит о справедливости и правах человека.

Тотчас сообразив, что голыми руками отпетых воров не возьмешь, он изображает старого добродетельного аббата, которому случайно становятся известны проделки всей шайки. Разузнав кое-какие подробности от Мадлен Катрин, он отправляет бывшим коллегам Франке остроумные письма, полные вымышленных, но вполне правдоподобных улик, и грозит им неминуемым и полным разоблачением, если они не расплатятся с бедной вдовой, причем великолепно усваивает набожный тон, подобающий католическому священнику.

Далее следует уже какая-то сказка, впрочем, довольно правдоподобная, поскольку Пьер Огюстен не только дерзкий, не только изворотливый и находчивый, но и чертовски талантливейший человек и прирожденный артист: будто, переодевшись, в гриме и в парике, он отправляется к одному из воров под видом посланца аббата, во всех подробностях описывает внешность этого добропорядочного служителя церкви, передает его речи и так выдирает из рук мошенников девятьсот ливров, которые с торжеством и со смехом вручает вдове.

Беда только в том, что всё это сущие мелочи для него. Его широкой, одаренной и страстной натуре необходимы большие дела, а никаких дел у него не оказывается. Он скучает, конечно, от скуки мечется в разные стороны, где-то бывает, в надежде занять чем-нибудь свой тоскующий любознательный ум.

И тут на него обрушивается жена. Заваривается какая-то глупая каша, которую уже нельзя расхлебать. Можно только слегка нащупать кое-какие пружины. Мадлен Катрин оказывается дамой с характером. Она привыкла командовать первым супругом, человеком безвольным, хоть и много старше её. Теперь она пытается командовать вторым мужем, который намного моложе её, и он, как мы видели, на первых порах кое в чем подчиняется ей, с такой силой он любит её и так долго её дожидается. Однако он слишком натерпелся от суровой опеки отца, чтобы поступить под опеку жены. Характер у него самостоятельный, крепкий, а после первого опыта, когда он был мальчиком тринадцати лет, он инстинктивно страшится ещё раз испытать на себе жестокую женскую власть. Наступает момент, когда он незримо ускользает из-под неудобного башмака Мадлен Катрин, и чем она становится яростней в своих притязаниях командовать им, тем он ловчее от неё ускользает. Дальше больше, она старше его и, конечно, ужасно ревнива. Отношения усугубляются тем, что он, вопреки общему мнению, любовник неопытный, а она его неопытность принимает за холодность к ней, поскольку не может даже подумать о том, чтобы у такого красавчика не было бесконечного опыта. Наконец у Мадлен Катрин процесс в легких, а чахоточные большие несносно капризны. Другими словами, у неё разом оказываются сотни причин, чтобы его изводить. Упреки сыплются градом. Естественно, разъяренная, склонная к истерикам женщина ищет самое уязвимое место, в которое следует запустить свои ядовитые когти.

Такое место быстро находится. Пьер Огюстен всего лишь ремесленник, неровня женщине хотя и нетитулованной, однако из высшего общества, из придворных кругов, и она без особых усилий доводит до белого каленя того, кого любит, на все лады повторяя, что он ничтожество и не достоин её.

То есть скверней не бывает упрека из дорогих женских уст, и каждый мужчина поймет, что жизнь его превращается в ад. Дойдя до отчаяния, Пьер Огюстен однажды пишет жене, отчего-то называя её другим именем, может быть, по распространенной привычке мужей называть жену так, как ей больше нравится:

«Жюли, умиравшая от наслаждения при одном нежном взгляде в пору опьянения и иллюзий, превратилась теперь в заурядную женщину, которую трудности приспособления привели к мысли, что она прекрасно обошлась бы без того, кто прежде был её сердцу дороже всего на свете...»

Конечно, он крайне неопытен и не понимает того, что все изоцренные выкрики, все раздраженные заявления о том, что она превосходно бы обошлась без него, объясняются дурным, капризным характером и тяжелой болезнью и говорит не об охлаждении с её стороны, а скорее наоборот, о самой пылкой, с каждым днем неудержимо растущей любви, доводящей бедную женщину до помрачения ума.

Ну, женщины ещё предоставят ему много возможностей изучить все несообразности, все нелепости их вздорного нрава, а пока его несчастная семейная жизнь внезапно кончается и оборачивается новой, уже совершенно бестолковой и ужасной бедой.

Двадцать девятого сентября 1757 года Мадлен Катрин умирает, несмотря на усилия четырех лучших парижских врачей, которых он к ней пригласил, совершенно справедливо не полагаясь на мнение одного. Неизвестно, как тяжело он переживает утрату. Как бы там ни было, ему не предоставляется времени для сердечных страданий. Не обращая никакого внимания на присутствие четырех знаменитых врачей, констатировавших смерть от чахотки, с бешеной скоростью – всякой светской молвы распространяется слух, будто он свою несчастную жену злокозненно отравил. Злонамеренный слух. Лет двадцать спустя кое-кто из родственников Мад-

лен Катрин эту клевету использует против него, однако выдумали её скорее всего не они. В момент кончины Мадлен Катрин эта выдумка им не нужна. По закону они наследуют всё её состояние и уstraиваются так ловко, что Пьеру Огюстену оставляют только долги, которые ему оказывается нечем платить. Само собой становится ясно, что с материальной точки зрения ему нет резона её убивать, поскольку имеется перспектива лишиться всего достояния, вплоть до крыши над головой, и получить в наследство кучу долгов, о чем он, как её управляющий, не может не знать.

В таком случае, кто и для чего распространяет этот злонамеренный слух? Кто и почему с энтузиазмом подхватывает его?

Неизвестно. Скорее всего, именно те придворные лизоблюды, которые ненавидят его как плебея и выскочку, с такой великолепной легкостью обошедшего их перед лицом короля.

Слух, разумеется, вздорный, этот слух опровергнуть легко, стоит призвать в свидетели лучших парижских врачей, но в высшем обществе, в этих развращенных придворных кругах никто не требует никаких доказательств, и Пьер Огюстен остается вдовцом, без каких-либо средств и с черным пятном на своем честном имени, и ему доводится испытать на собственной шкуре, что такое, в противовес общественному мнению, однажды привлеченному им для защиты от посягательств придворного вора, ловко пущенная и старательно распространенная клевета, от которой ему придется долго и тяжело страдать, как при жизни, так и по смерти.

Тут что-то с ним происходит. Пьер Огюстен как-то странно и некстати спешит. Ещё перед смертью жены он пребывает прежним Кароном, как ему полагается от рождения. Теперь же, вскоре после её похорон, в октябре, он вдруг превращается в Карона де Бомарше, используя имя поместья, принадлежавшего Пьеру Огюстену Франке, затем Мадлен Катрин и ныне уплывшего от него, а в феврале следующего 1758 года он уже именуется просто де Бомарше.

Вообще-то, преобразование этого рода вполне в порядке вещей. Дети подрядчиков и откупщиков, часовщиков и обойщиков, солидно разбогатев, начинают совеститься своих простонародных родителей, нередко вышедших из крестьян, которых герцоги, графы или бароны запросто секли на конюшне, за немалые деньги приобретают какой-нибудь подходящий патент, а вместе с патентом и приятное право учредиться дворянами, а это право, что важнее всего, избавляет их от презренного и бесправного положения простолюдина, в то числе от дранья.

Однако Пьер Огюстен пока что не приобретает никакого патента, дающего прекрасное право избавиться от битья и дранья. Он весь в долгах. Пятьдесят тысяч ливров ему негде взять. Таким образом, он вдруг сам ни с того ни с сего себя возводит в дворяне. Что ему дает эта видимость дворянина? Решительно ничего она ему не дает. Во всяком случае на расстоянии двухсот с лишком лет ничего положительного в этом скоропалительном действии не видать. Его положение от самовольного возведения в дворяне несколько не улучшается. Его положение просто ужасно. Из его положения никакого выхода нет.

Судя по всему, производство часов, единственный надежный источник дохода, исправно обогащавший его, оставлено им, причем оставлено навсегда. От покойной жены ему достаются большие долги, на которые нарастают чудовищные проценты, а платить ему нечем и не светится ни малейшей надежды, что когда-нибудь он сможет эти чудовищные долги уплатить, а это означает долговую тюрьму, от которой его никто не спасет, ни липовое дворянство, которое он изобрел, ни даже король.

Он погружается в черную полосу неудач.

## Глава пятая

### Интриги двора

Впрочем, возможно, что у него остаются кое-какие дела по военным поставкам, унаследованное им от Франке, а как раз для военных поставок наступают золотые деньки, ибо прекрасная Франция снова передвигает полки.

Ещё два года назад французский и английский короли перегрызлись в Америке, сражаясь за господство в канадских провинциях. Обе стороны необдуманно и недальновидно вербуют в свои малочисленные отряды канадских индейцев, недорого покупая это пушечное мясо за дешевые побрякушки и спирт. Вследствие этой обоюдосторонней вербовки военные действия в нехоженных дебрях Канады становятся партизанской, то есть нудной, томительной, чрезвычайно жестокой и абсолютно бесперспективной войной. Английские политики, которых отбирает и выдвигает парламент, первыми делают вывод, что исход канадской войны может и должен решиться в Европе, чего французские политики, выходящие из рядов развратной аристократии, отбираемые и выдвигаемые капризами фавориток распутного короля, длительное время не могут понять и оттого пропускают благоприятный момент для укрепления своих позиций в Европе. Английские политики, опять-таки первыми, обращают внимание на малоприметное, однако стремительное возвышение Пруссии, которая из крохотного Бранденбургского княжества начинает превращаться в одну из ведущих европейских держав. Они отказываются поддерживать Австрию и предлагают Фридриху 11 субсидии для укрепления армии, при этом напоминают ему, как удобно было бы развязать войну с Францией, которая пытается прибрать к рукам Нидерланды, натурально, умалчивая, что на тамошнем военном театре Франция угрожает Ганноверу, наследственному владению английского короля. Фридрих 11 без промедления соглашается отхватить Нидерланды, и в Уайтхолле подписывается договор о военном союзе. Однако Фридрих 11, человек расчетливый и вероломный, надувает самым бессовестным образом англичан. Прусскому королю заведомо Франции не одолеть, к тому же его корыстные интересы направляются главным образом на юг и восток. Своего брата Генриха он намеревается пропихнуть на курляндский престол, Польшу надеется сделать вассалом, предполагает захватить Чехию и затем обменять её на Саксонию, то есть надеется урвать здесь, урвать там и вдруг сделаться единственным властителем всего южного побережья балтийского моря. Урвать предстоит у России и Австрии. Русский канцлер Бестужев, человек прозорливый, тоже расчетливый и вероломный, вовремя понимает, что, осуществи прусский король свои планы, рухнет дело Петра, священное для Бестужева, а тут выясняется, что императрица Мария Терезия готова продать последнюю юбку, лишь бы насолить этому монстру, как она величает прусского короля, одним ударом вырвавшего из австрийских объятий Силезию. Само собой разумеется, Россия и Австрия также заключают военный союз. К этому союзу вскоре присоединяются Швеция и Саксония, единственно ради того, чтобы не сгинуть в забористых лапах – прусского короля. После стольких интриг Франция остается на континенте одна. Она не может отказаться от завоеваний в Канаде, не может отказаться от влияния в Нидерландах, европейцы страстно любят захваты, однако ещё более страстно свои захваты уступать другому захватчику. Одной ей своих захватов не удержать. По счастью, всегда неверная, скользкая Австрия, недооценивая силу России, опасается Пруссии и потому зондирует почву во Франции, подталкивая её на военный союз, и Франция становится внезапно союзницей своего злейшего, непримиримейшего врага.

Положение Франции все-таки остается двусмысленным и очень непрочным, и за роковые ошибки своей дипломатии ей очень скоро приходится дорого заплатить. Фридрих 11, не объявляя, конечно, войны, наносит сильный удар по Саксонии. Если бы союзники сумели договориться, согласовать свои действия, они могли и должны были с трех сторон ударить по армиям

прусского короля и вдребезги их разнести, настолько все вместе они превосходят его. Однако они, как на грех, соединенные поневоле, не способны договориться между собой. Пользуясь разбродом в стане врага, злокозненный Фридрих наносит поражение Австрии, после чего начинается затяжная война. Наконец летом русская армия одерживает решительную победу при Гросс-Егерсдорфе. Однако поздней осенью Фридрих разбивает французов под Росбахом, так что Франция долго приходит в себя. Таким образом и на континенте, как и в Канаде, войне конца не видать.

Натурально, brave поставщики на армию во всех воюющих странах ставят пудовые свечи и коленопреклоненно благословляют судьбу, и если у Пьера Огюстена действительно сохраняются кое-какие дела по поставкам, унаследованные от пронырливого Франке, а похоже на то, перед ним открывается перспектива мгновенно разбогатеть, однако для такой операции необходимы большие первоначальные средства, а вместо них на него свалились чужие долги. Другой на его месте, вполне вероятно, извернулся бы в столь благодатное время, несмотря ни на какие долги, но тут выясняется, что никакого опыта у него не накопилось в такого рода скользких делах.

В сущности, Пьер Огюстен абсолютно не знает действительной жизни. Годы и годы он просиживает за рабочим столом в мастерской, не появляясь нигде, кроме двух-трех приятелей детства, таких же скромных ремесленников, как и он сам, ремонтирует и изготавливает часы, изобретает анкерный пуск и вновь с ещё большим усердием просиживает за рабочим столом в мастерской, выполняя десятки и сотни заказов, которые ему дают при дворе. Кого и что видит он целые годы, кроме матери, отца и сестер, кроме инструментов и флейты? Решительно ничего. Где он может познакомиться с действительной жизнью, тем более с приемами и махинациями поставщиков? Опять же нигде.

Со смертью жены действительная жизнь впервые открывается перед ним во всей своей широте, во всей своей наготе и явным образом ошеломляет его. Он мечется в разные стороны, что-то пытается предпринять, однако повсюду его встречает глухая стена, которую не перепрыгнуть, которую головой не пробить. Вероятно, он и липовое дворянство изобретает поспешно в какой-то смутной надежде бог весть на что, и никчемность, бессмысленность этого торопливого шага только указывает на меру отчаяния, овладевшего им.

Без преувеличения можно сказать, что немалое время он живет как потерянный, что-то пробует, начинает, даже как будто приступает к «Евгении», к своему первому театральном сочинению, что вполне вероятно, поскольку литературное дарование пробуждается в его чересчур разносторонней душе только тогда, когда он получает от коварной судьбы жесточайший удар, когда он терпит полное поражение во всех своих начинаниях, когда он повержен, сбит с ног, когда обстоятельства оказываются сильнее его. Всё может быть. Только из всего этого ничего не выходит. Фантазия у него работает, конечно, безостановочно, бешено, не может быть недостатка в самых невероятных проектах, в сочинении-то проектов трудновато его превзойти, однако все проекты неизменно проваливаются, едва соприкоснувшись с действительной жизнью, поскольку абсолютно никакого отношения к ней не имеют. Он банкрот, и видать по всему, что непоправимый банкрот.

Единственное, что остается ему и что, вероятно, поддерживает его в пучине внезапных потерь, это неиссякаемая симпатия незамужних принцесс, этих капризных стареющих гримз и обжор, умирающих от скуки на задворках Версаля. С утра до вечера они зашнурованы в тугий корсет дворцового этикета. Им положено подниматься в половине десятого или в десять. Они одеваются и встают на молитву, затем завтракают, и во время завтрака к ним на минутку заглядывает король, если при помощи разного рода мелких интриг им удастся его залучить, что поднимает их в собственных глазах и в глазах всего пестрого придворного мира. После одиннадцати они начинают причесываться. В двенадцать отправляются к мессе. После мессы долго тянется довольно нудный обед, который оканчивается в половине второго, и всё это

время приходится одиноко скучать, если к ним не заглянет кто-нибудь из придворных, а это опять-таки определяется тем, удастся ли им залучить на свой обед короля. Затем до семи часов настает самое глухое, самое бесцветное время, которое этикетом отводится для их личных занятий. С семи до девяти в покоях у них положено проводиться играм и развлечениям, опять-таки если кто-нибудь пожелает в их скорбном присутствии играть и развлекаться. В девять им полагается ужинать, а в одиннадцать они должны неукоснительно отправляться ко сну.

Естественно, все три девицы чрезвычайно дорожат таким замечательным посетителем, как Пьер Огюстен, способным не только играть едва ли не на всех существующих инструментах и участвовать в разного рода шарадах и сценках, но и придумывать всевозможные развлечения, в которых не прочь поучаствовать и кое-кто из придворных, тоже умирающих от безделья и скуки. К тому же, Аделаида, наиболее музыкальная из сестер, просто не может без него обойтись, без его совета не выберет нот, без его помощи не разучит новой пьесы, без его участия не составит концерт. Софи более прозаична, но в отсутствие этого молодого человека, знающего толк и в вине и в еде, для неё и ветчина не ветчина, и колбаса не колбаса, и шампанское похоже на квас, а она дня не может прожить без хорошего ломтя ветчины, без целого круга поджаренной колбасы, без бутылки шампанского, к тому же её кошелек всегда пуст, а у этого славного кавалера всегда можно перехватить луидор, до того с ним легко и не приходится скрывать своих маленьких слабостей. Что касается Виктории, то Виктория, как говорят, слегка в него влюблена.

Нечего удивляться, что «комнатный горшок», как эти дамы именуют карету, то и дело отправляют за ним, и он неизменно является, высокий и стройный, со своей обворожительной необыкновенной улыбкой, которая чарует не одних только старых девиц. Дальше больше. Понемногу к нему прилипает дофин, ещё крошка, четырех-пяти лет, неуклюжий толстяк, недалекий, неразвитый, вялый, однако же мягкий, наивный и добрый, не знающий искренней ласки в эгоистически-холодной королевской семье, тоскующий по вниманию, по приветливым безыскусным словам. Сам Людовик XV, этот никчемный монарх, разоряющий свой народ не только безмерными налогами на свое беззаботное содержание, но теперь ещё и на ведение малоперспективной войны в колониях и в Европе, не так давно легко раненный Робером Дамьеном, пришедшим в отчаянье патриотом, решившим таким крайним способом растолковать тугумному королю, что прекрасная Франция гибнет, так вот и этот король всё чаще появляется в покоях заброшенных, постылых принцесс, когда там распоряжается этот обольстительный молодой человек и оттуда доносится беззаботная музыка и такой же беззаботный жизнерадостный смех. Другими словами, Пьер Огюстен на какое-то время становится общим любимцем всей королевской семьи.

Возникает резонный вопрос: как это ему удалось, что за причина такого успеха? Обыкновенный ответ: ловкач, Фигаро, к кому захочет вотрется в доверие, и между прочим прибавляют с пожатием плеч, что и сам по себе хороший был человек, точно внезапно припомнив, что все-таки речь идет о величайшем драматурге не одной только Франции, а о драматурге на все времена.

В действительной жизни прямо наоборот, скучающих принцесс, затем самого короля и дофина ему удастся покорить именно потому, что он не Фигаро, не ловкач, не жулик, не карьерист, не искатель отличий и пенсий, несмотря на приобретение водевильной должности хранителя королевских жарких. Он единственный при дворе, кто не домогается ничего, не просит, не кланчит, не вымогает, кто ни от принцесс, ни от короля, ни тем более от пока что ничего не значащего в этом мире дофина решительно ничего не имеет, кроме этой обременительной обязанности являться по первому зову и рассеивать крошечную скуку этих высокородных бездельников, этих пустейших, никчемнейших, ни к чему путному не пригодных людей.

Уже одно его бескорыстие поражает воображение королевской семьи, с пеленок убежденной многогранным, многокрасочным опытом, что бескорыстных людей не бывает на свете,

тем более их не бывает при насквозь корыстном королевском дворе, куда широкие массы титулованных подданных влечет именно жадность, корыстный расчет, именно неутолимая жажда ухватить кусок пожирней, тогда как этот ремесленник не только ничего не ухватывает, но сам постоянно является с каким-нибудь недорогим невинным подарком, какие-нибудь новые ноты, альбом или пакетик со сладостями, которые преподносятся с такой естественной простотой, точно он член королевской семьи, брат или сын.

И в этой-то естественной простоте вся его неотразимая прелесть. Суровое воспитание в доме отца, тайный и по этой причине искренний кальвинизм, увлечение моральной проповедью английского писателя Ричардсона, вообще увлечение литературой именно этого рода делают его человеком строгой, глубоко вкорененной морали, не позволяющей даже подумать о сколько-нибудь бесчестном поступке. Творческая натура, эта редчайшая способность изобретать непреходящие вещи, вроде анкерного спуска и педали для арфы, дают ему достоинство такой исключительной прелести и чистоты, какой не дает никакая самая блестящая родословная, уходящая своими корнями к какому-нибудь косматому Хлодвигу или Пипину Короткому. Неустанный труд от зари до зари в течение многих лет, тесный круг морально здоровой семьи и немногих знакомых из таких же добропорядочных трезвых семей трудолюбивых ремесленников сохраняют в нем непосредственность, изумительную правдивость, наивность и чистоту помыслов, которые до крайности редки не только при королевском дворе, но и всюду в действительной жизни, в которой властвуют титул и деньги, которая по этой причине полна пресмыкательства и обмана, и оттого не только не понятны для этого времени, но и чужды ему.

Разумеется, Аделаида, Софи и Виктория в конце концов не могут не познакомить его с изнанкой коварного придворного бытия, с закулисными махинациями, со скрытым значением всей этой манерности, преднамеренной холодности, внезапно во время танца брошенных взглядов, пожатия рук, кивков головы, с хитроумными приемами глубоко скрытых от публики войн между придворными группировками и родовитыми семейными кланами, а затем не могут не привлечь и его к участию в этих войнах на своей стороне. С этой целью они пробуют обучить его мудреному искусству прилипчивой клеветы, тончайшего вероломства, булавочных уколов, от которых нередко зависит судьба уколотой жертвы, и в особенности искусству пошлых и мелких интриг, без которых не возможно существовать при дворе.

Однако их хлопоты пропадают напрасно. Его непосредственной честной натуре претят все эти мелкие гадости. Он сохраняет свою непосредственность, свою моральную чистоту несмотря ни на что, а мелкое интриганство не может совместиться с его глубокой и сильной натурой, и если он познает все-таки многие тайны интриги, оценивает до достоинству её ядовитое могущество в жизни, в конце концов приобретает к ней вкус, то это оказывается вкус и пристрастие к интриге совершенно иного масштаба и смысла, пристрастие и вкус к интриге крупного коммерсанта, политика и дипломата, далекой и чуждой мышью суеде придворных интриг.

В королевских покоях он ведет себя точно так же, как дома, безыскусно и просто, открыто и бескорыстно, доброжелательно и наивно, не скрывая, не искажая кому-то в угоду своих истинных мыслей и чувств, говорит, что думает, смеется, если смешно, веселится, если у него хорошее настроение, молчит, если не хочется говорить, по этой причине нередко попадает в неловкое положение, как это приключилось во время концерта, когда он сидел, а король стоял перед ним, однако нисколько не смущается этим, потому что для него естественно сидеть, когда он играет на арфе, естественно всё, что он делает, о чем говорит.

Перед королевской семьей предстает существо иного порядка, существо экзотическое в полном смысле этого слова. Ни король, ни дофин, ни принцессы нисколько не понимают его, настолько он не подходит под любые придворные мерки, да едва ли и пытаются его разгадывать, его понимать. Он их забавляет, ничего иного им от жизни не надо. Разумеется, никто из них не способен его оценить. Им вполне достаточно время от времени пользоваться им как

забавной игрушкой. Но бессознательно они не могут не тянуться к нему. Вокруг них всё так испорчено, извращено, всё так бесчестно и грязно, что им поневоле хочется иногда побыть рядом с ним, хоть чуточку отдохнуть от лицемерия, от вечных ловушек, в которые увлекают любовницы, лизоблюды, министры, хоть немного очиститься душой рядом с ним, потому что и самой нищей, самой падшей душе иногда хочется испить глоток непорочности, глоток чистоты.

Оттого его так люто ненавидят придворные. Они утробно завидуют его внезапным успехам. Его неотразимость вызывает в них злость. Им невозможно соперничать с ним. Они страшатся открыто нападать на него. Умертвить его на дуэли у них недостает ни уменья, ни отваги, ни сил. Остается мелко пакостить ему от случая к случаю, и они ему от случая к случаю пакостят, кто булавочным уколом, кто клеветой, то есть бестолково и глупо, до поры до времени не причиняя ему большого вреда.

То вдруг каждая из принцесс получает в подарок по вееру, на каждом из которых довольно искусно изображены все участники их довольно интимных концертов, за исключением этого выскочки, часовщика и сына часовщика, этаким фокусом намекая на неприличность его появления в покоях принцесс и предлагая этим намеком его удалить. Растерянные принцессы предъявляют ему веера, точно просят совета, потому что не имеют представления, как же им тут поступить. Он только улыбается своей необидчивой милой улыбкой, и веера возвращают, тем самым выказывая немилость дарителям.

То вдруг расползается слух, будто он не уважает отца, мол, оттого, что его отец всего лишь ремесленник, простолюдин, и даже обращается с ним слишком дурно. Эта подлая клевета не на шутку взбудораживает принцесс, потому что семья священна для них, оттого, может быть, что у главы их семьи сотни любовниц и тысячи никому не известных случайных девиц. Разумеется, возникают какие-то трения, причины которых простодушный Пьер Огюстен никак не может понять и, вероятно, объясняет себе дурным настроением, очередным капризом стареющих дев, что с ними в самом деле приключается часто. Однако стареющие девицы до того испорчены и нетерпеливы, что ничего не могут долго держать при себе. Они передают ему придворную сплетню и требуют от него объяснений. Карьерист и ловкач и стал бы оправдываться, и давать клятвы, и нагородил бы в свое оправдание черт знает чего, и не сделал бы лишь одного: не извлек бы своего плебея-отца из его мастерской, страшась демонстрацией такого родства опозорить себя и тем утратить шанс устроить карьеру. Только Пьер Огюстен не понимает по своей непосредственности и простоте, чего он тут может стыдиться, и тотчас доставляет отца во дворец, где бывший королевский драгун и нынешний часовщик производит благоприятное впечатление такой же искренней непосредственностью, такой же безыскусственной простотой.

Конечно, такие обыкновенные и оттого непредвиденные способы развязывать запутанные узлы, нарочно завязанные для него придворными ловкачами, постоянно выручают его из беды и в то же время ещё более озлобляют его ненавистников, желающих его погубить, чтобы он им не мешал. Они ведут против него яростную, но глухую войну, и замечательно в этой войне только то, что он один не замечает её и все эти хитроумно расставленные ловушки принимаются им за недоразумения, случайные стечения обстоятельств или разного рода ошибки, которые чрезвычайно легко разъяснить.

Он разъясняет и продолжает добровольно нести свою бескорыстную службу, которая не только не обогащает, но ещё и разоряет его. Впрочем, за свою службу он получает вознаграждение в другой, для него куда более ценной монете, хотя его высокие покровители и не думают чем-нибудь его награждать, как и положено при дворе, где награждают лишь тех, кто умеет что-нибудь выклянчить или стащить.

При дворе он понемногу начинает познание действительной жизни, о которой прежде не имел ни малейшего представления. Он узнает, что король, имеющий бесконтрольную, беспредельную власть над страной, всего лишь капризная марионетка в ловких руках своих бессовестных фавориток, в это время в руках маркизы де Помпадур. Это не король Франции, а эта

бесчестная шлюха заключает союз с давним противником Австрией, единственно потому, как шепчутся при дворе, что наторевшая в тайной дипломатии Мария Терезия догадывается, обратившись к заведомой потаскухе с личным посланием, назвать её своей подругой или, кажется, даже кузиной. Это не король Франции, а эта бесчестная шлюха назначает на высшие посты генералов, которые так ничтожны, так глупы, что проигрывают сражения даже тогда, когда исключается малейшая возможность их проиграть, проигрывают лишь оттого, что Брольи ввязывается в битву, не дожидаясь медлительного Субиза, чтобы себе одному прикарманить лавры абсолютно верной победы, тогда как Субиз, слыша пушечную пальбу, нарочно не выступает на помощь Брольи, чтобы соперника погубить, выдав его неприятелю головой. Это не король Франции оставляет генеральскую должность осрамившемуся Субизу, когда причина постыдного поражения выплывает наружу и сотни, тысячи ругательных писем со всех концов Франции обрушиваются на маркизу де Помпадур, а маркиза де Помпадур, назло адресатам этих ругательных писем, которые заставляют бедную женщину не спать по ночам, продолжает покровительствовать своему бездарному протеже. Это не король Франции, а маркиза де Помпадур определяет, где именно, на море или на суше, французские адмиралы и маршалы должны развернуть военные действия, чтобы тем вернее раздавить ненавистную Англию, отчего французские армии терпят одно поражение за другим.

Пьер Огюстен узнает, что герцог де Ришелье, захватив на Минорке неприступную крепость, вместо того, чтобы самым решительным образом развить эту значительную победу и всем своим флотом преследовать растерявшихся англичан, занимается грабежами, теряет время и тем самым упускает победу, которая шла ему в руки чуть не сама. Он узнает, что во время походов за французской армией в обозах тянется больше публичных девок, торговцев и слуг, чем она имеет солдат, что обозных лошадей оказывается больше, чем верховых, что от этого французская армия становится громоздкой, неповоротливой, мало способной к быстрым маневрам, точно это нерегулярное полчище турецких пашей. Он узнает, что французские офицеры, назначенные в караул или в ночное дежурство, нередко покидают свой пост, чтобы потанцевать где-нибудь по соседству или переспать с какой-нибудь девкой, и все эти сведения не могут не наводить на размышления о том, что французское дворянство, которому принадлежат все без исключения должности и посты, приходит в упадок и становится беспомощным, бесполезным, даже вредным не в одних военных делах или в делах управления, но даже и в будничных, житейских делах.

Всё это горькие и по-своему страшные истины. Познание таких истин тяжело для души человека безукоризненной честности, с детских лет привыкшего исполнению долга, исполнению нравственного закона ставить превыше всего. На его прежде безмятежном челе появляются первые тени. Его прежде простодушный, полный наивности взор понемногу становится глубже, сосредоточенней и острее. Его творческий ум, оторвавшись от слаженного и ясного механизма часов, понемногу погружается в пучины общественной жизни, в которых, к его изумлению, не видать никакого просвета.

Видимо, именно в эти пустые, темные годы Пьер Огюстен от неторопливых, тяжело-весных книг английского писателя Ричардсона обращается к стремительным, остро жалящим статьям и памфлетам французских философов, именно с этого времени принимается шаг за шагом следить за странной жизнью и бесчисленными трудами Вольтера, который, совсем недавно вырвавшись из тесноватых объятий бывшего друга Фридриха, прусского короля, и проскочив приграничными проселочными дорогами так, чтобы не попасть в более тесные объятия бывшего друга Людовика, французского короля, не ужившись в кальвинистской Женеве, поднимается в горы, приобретает небольшое поместье, готовится к изданию полного собрания сочинений своего любимейшего драматурга Корнеля и понемногу превращается в фернейского патриарха, многие благородные поступки которого Пьер Огюстен, отчасти сознательно, отчасти невольно, впоследствии повторит.

Не сомневаюсь, что на него производит глубочайшее впечатление нашумевшая история англичанина Бинга. Именно этого несчастливого адмирала побеждает герцог де Ришелье, что английских патриотов приводит в негодование. Адмирала Бинга серьезно обвиняют в измене, точно английский адмирал не может потерпеть поражения, и учиняют над мнимым изменником суд. Вольтер знаком с Бингом лично, однако не одно это случайное совпадение побуждает его лихорадочно действовать для спасения безвинно обвиненного человека. Вольтер обращается за разъяснениями к самому Ришелье и от него узнает, что английский адмирал никоим образом не повинен в измене, что, напротив, адмирал Бинг как должно исполнил свой воинский долг. Вольтер поражен мыслью, что восторжествует несправедливость. Он добровольно принимает на себя обязанность адвоката. Свидетелем защиты он предлагает выступить герцогу де Ришелье и передает английскому суду показания французского адмирала. Неслыханное дело, показания противника, показания заклятого врага зачитываются перед присяжными, и дело оказывается до того очевидным, что четверо из них подают голос за оправдание Бинга. Разумеется, слепой патриотизм берет все-таки верх, и прочие голосуют за смертную казнь, а трусливый английский король в угоду взбесившимся патриотам отклоняет ходатайство о помиловании. Дело совести Вольтером проиграно, однако по блистательным галереям Версаля уже бродит тот, чья совесть, по примеру фернейского патриарха, так же не станет молчать.

А пока будущему преемнику и наследнику фернейского патриарха приходится туго. Все источники, питающие его, иссякают. Его начинает преследовать даже портной, и Пьер Огюстен, простодушный, в своем поступке не видящий решительно ничего необычного, подает домоправительнице принцесс небольшой счет на тысячу девятьсот с чем-то ливров, включив в него и переписку нот, и тетрадь в сафьяновом переплете, и пятнадцать ливров, одолженные Виктории, пять луидоров, одолженные Софи. Неизвестно, оплачивают или нет ему этот счет, однако замечательно то, что этот счет не испортил его отношений с принцессами. Поэтому поводу не могу не сказать ещё раз: неотразимый был человек!

Этот счет свидетельствует, конечно, о том, что Пьер Огюстен находится в такой жуткой крайности, дальше которой уже невозможно пойти. Он погибает на глазах этих глухих сердцем принцесс, короля и неуклюжего маленького дофина. Спасение всё же приходит, однако оно приходит совсем с другой стороны.

## Глава шестая

### Неожиданное спасение

Мало сказать странное, фантастическое знакомство происходит у него в 1760 году, точно лихая судьба, проверив на прочность молодого часовщика, решает вернуть ему свою благосклонность.

В Париже, в прекрасном особняке, доживает свой долгий век поначалу Пари Дюверне, сын трактирщика из Муарана, провинции Дофине, сам искусный повар и расторопный гарсон в придорожном трактире отца, впоследствии Пари дю Верне, дворянин, за хорошие деньги купивший патент, поставщик на армию, мучной генерал, как его именует маршал Ноайль, крупнейший из финансистов эпохи, богатейший во Франции человек, в свои семьдесят шесть лет владеющий всем, о чем только можно мечтать, в том числе громадной, хотя и тайной политической властью, которому повинуются, как простые солдаты, министры и маршалы Франции.

Пьер Огюстен, по всей вероятности, прекрасно осведомлен об этой слишком приметной фигуре, просто-напросто о ней не может не знать, потому что сам как-то связан с поставками, однако ему и в голову не приходит устанавливать с воротилой какие-нибудь выгодные для себя отношения, тем более лично познакомиться с ним, да и как, с какой стати великий финансист и политик примет его, тем более близко подпустит к себе? Пари дю Верне как будто тоже не имеет ни малейшей нужды в бедном молодом человеке, имевшем глупость оставить почтенное и доходное свое ремесло, обвиненном в убийстве жены, запутавшемся в долгах, задолжавшем даже портному.

И все-таки жизнь так прекрасно устроена, что все мы нуждаемся в ближних своих, а наши ближние хоть однажды нуждаются в нас, и нередко случается так, что сильным мира сего не обойтись без беднейших и слабых. Не обойтись и самому богатому из французов без этого бывшего часовщика, запутавшегося в долгах, и не Пьер Огюстен Карон с его липовым де Бомарше приходит к нему, а законный, хотя и покупной дворянин и богач пари дю Верне прибегает к услугам Пьера Огюстена Карона де Бомарше. Впоследствии Пьер Огюстен довольно сжато расскажет эту историю:

«В 1760 году мсье дю Верне в отчаянии оттого, что, несмотря на все его усилия на протяжении девяти лет, ему не удастся побудить семью короля почтить своим посещением Военную школу, пожелал познакомиться со мной и предложил мне свое сердце, помощь и кредит, если я сумею добиться того, в чем тщетно пытались преуспеть многие на протяжении этих девяти лет...»

В его конспективном изложении эта замысловатая история выглядит чересчур безобидно и просто. Понять её можно так: у старого миллионщика задето непомерное самолюбие невниманием королевской семьи, задето так основательно, что бедный миллионщик приходит в отчаяние и чуть ли все девять лет не спит по ночам. В действительности, если миллионщик и приходит в отчаянье, в чем я нисколько не сомневаюсь, то причины его отчаянье имеет абсолютно иные, не имеющие отношения к непомерному самолюбию. Не такой это человек, чтобы его самолюбие так жестоко страдало по таким пустякам.

Возвышение Пари дю Верне происходит как-то внезапно и даже отчасти загадочно. В 1710 году, пятьдесят лет назад, через Муарана проезжает герцогиня Бургундская и делает краткую остановку всего-навсего для того, чтобы подкрепиться в придорожном трактире. Вещь, как видите, вполне заурядная. Далее происходит что-то из области сказок о разного рода искусных джинах и волшебствах. То ли каким-то приворотным зельем опоили герцогиню в этом трактире, то ли предложили какие-то особенные услуги, только герцогиня внезапно решает, что отныне четыре молодых человека, дети трактирщика, станут не кем-нибудь, а бан-

кирами. Нужно признать, страннейшие капризы бывают у герцогинь! Что особенно замечательно, каприз проходит не сразу, и герцогиня успевает порекомендовать расторопных поваров и гарсонов губернатору Дофине, ну а губернатор уж разбивается, как должно, в лепешку, чтобы её светлости угодить. Повара и гарсоны взмывают в одно мгновение ввысь. Спустя десять лет общее состояние братье не поддается учету, а этот Пари дю Верне, самый талантливый, самый образованный среди них, достойный ученик Сэмюэля Бернара, успевает войти в доверие к подозрительному Людовику XIV, умершему, как известно, в 1715 году, и затем неизменно оказывает влияние на переменчивую политику Людовика XV через его наиболее приметных любовниц: мадам де При, герцогиню де Шатору и особенно через маркизу де Помпадур.

Каким же образом во все его операции, политические и деловые, замешивается Военная школа, в которой пять сотен подростков в возрасте от десяти до двенадцати лет, дети незнатных провинциальных дворян, будущие офицеры слабеющего французского воинства, под присмотром его племянника Мейзье обучаются фехтованию, владению огнестрельным оружием, верховой езде и, разумеется, танцам, без которых не способен сражаться ни один уважающий себя офицер?

Довольно простым. У Пари дю Верне натура чрезвычайно широкая. Владея такими громадными средствами, он может позволить себе удовольствие сделаться большим меценатом, и он в самом деле большой меценат, в частности, именно он помогает Вольтеру заложить основы его состояния, тоже, как известно, немало. На Марсовом поле он возводит Военную школу тоже в качестве мецената, может быть, ради того, чтобы его племянник, полковник, имел возможность без опасной для жизни пальбы и вредных атак командовать кем-нибудь и занимать себя маршировками. По всей вероятности, на первых порах никакой другой роли эта прекрасно оборудованная, просторная школа в жизни Пари дю Верне не играет, поскольку он занят более серьезными играми.

Куда большее значение имеет для него то, что с годами маркиза де Помпадур, возмнив о себе черт знает что, отбилась от рук, принялась самостоятельно командовать королем, причем не только в постели, на что у нее имеются кое-какие права, но и в делах, на которые у нее никаких прав не имеется, и толкает слабовольного короля не туда, куда бы, по расчетам и представлениям Пари дю Верне, его следовало бы толкать. Пока не предвидится надлежащей замены для маркизы де Помпадур, приходится искать прямые дорожки к сердцу самого короля, тем более что Людовик XV принадлежит поистине к странным типам, поскольку неудобно именовать короля дураком. Представьте себе, во время предыдущей войны, тогда ещё против Австрии, французская армия одерживает несколько блестящих побед и Франция получает возможность приобрести некоторые богатые области в Нидерландах, что сильно укрепит её экономику, в особенности даст простор финансовым операциям и торговле, стоит только потребовать эти прекрасные области у значительно ослабленных Габсбургов, однако этот с позволения сказать Людовик XV объявляет, что, вишь ты, он воюет не как купец, но как король, и по Аахенскому трактату Франция остается ни с чем. С какой-нибудь иной точки зрения такой поступок может выглядеть благородным, даже возвышенным, тогда как с государственной точки зрения, тем более с точки зрения козырного туза французских финансов такой поступок выглядит как глупость, как серьезный провал, к тому же остается неясным, для какого рожна текли денежки из королевской казны и гибели солдаты и офицеры в этой достаточно кровопролитной войне.

Между тем интересы козырного туза французских финансов и поставщика лежат в плодородных канадских провинциях, способных выращивать хлеб, и на Ближнем Востоке, куда устремляется более половины французской торговли. В интересах козырного туза французских финансов громкие, решительные победы, победы как на канадских, так и на европейских полях. Тем более, если внимательно приглядеться к дальнейшим событиям, что козырный туз французских финансов одним из первых, как и положено козырным тузам, угадывает, к каким тяжелым последствиям именно для растущей французской торговли может привести такое

внезапное и стремительное усиление военной мощи России, которая по своему положению прямо-таки обязана искать выход в Средиземное море, то есть именно на этот самый горячо любимый Ближний Восток. По мнению козырного туза французских финансов, уж если королевская Франция так резко меняет свой политический курс и вступает в союзные отношения с Австрией, надлежит как можно раньше оторвать Австрию от России и столкнуть лбами обе державы именно на Балканах, куда обе поглядывают, одна с нескрываемой жадностью, другая в силу необходимости, к неудовольствию тоже далеко не бескорыстных французских купцов.

И вот, несмотря на эти сложные, малоприятные для Франции обстоятельства, этот ново-явленный рыцарь, которым, между прочим, вертит каждая юбка, не желает иметь дела с купцами, к тому с разбогатевшими довольно загадочным образом и такого низкого происхождения, как этот Пари дю Верне. Не желает, и точка. Лучше с раззолоченной шлюхой дело иметь, много достойней рыцаря и короля.

Тут весьма кстати подворачивается Военная школа. Пари дю Верне, нисколько не переменявшись в лице, преподносит свою Военную школу в качестве презента французскому королю, а через него, разумеется, Франции, которую он любит много больше, чем её любит король, преподносит так, словно с самого начала так и было задумано, во что я лично ни одной минуты не верю. Король ни гу-гу. Король делает вид, что от этого грязного торгаша не получил никакого подарка. В бесхарактерных людях всего сквернее упрямство, и Людовик упирается, точно бык, и бесповоротно стоит на своем. Многих своих клиентов и компаньонов Пари дю Верне подсылает к нему, однако Военная школа всё ещё не принята королем, в некотором смысле даже ещё не открыта, хотя пять сотен кадетов исправно танцуют, машут рапирами и гарцуют верхом. Спрашивается, может ли процветать французская экономика при таком отношении короля к предприимчивым людям? Ясное дело, никакая экономика процветать тут не может.

Действительно, Пари дю Верне приходит в отчаяние, поскольку он не только крупнейший воротила в мире финансов, но и прожженный политик и патриот, который не может сложа руки сидеть, когда на его глазах интересам Франции наносится непоправимый ущерб, тем более что английские дипломаты уже настораживаются, кое-что прозревают и что-то затевают при российском дворе. Конечно, к заботам политика примешивается и самолюбие, да не в самолюбии тут весь корень зла. Весь корень зла в том, что как международное, так и внутреннее положение Франции всё ухудшается. Из Канады ей, по всей вероятности, придется уйти. На континенте русская армия наносит поражение прусскому королю при Цорндорфе, а при Куненсдорфе фельдмаршал Салтыков и вовсе рассеивает к чертям собачьим всю прусскую армию, так что русские полки беспрепятственно берут Кенигсберг и движутся на Берлин, а это не может не означать, что все выгоды от этой ненужной войны могут достаться России. Есть от чего впасть в тоску.

Конечно, при особе упрямого короля Пари дю Верне имеет кучу осведомителей, платных и даровых. Осведомители исправно доносят, что в заштатных покоях принцесс утвердился молодой человек, не то часовщик, не то музыкант, не то черт знает кто, но парень смысленный, имеющий большое влияние на этих никчемных старых девиц. Я думаю, прожженный, тем более подпольный политик наводит о молодом человеке особые справки, и по этим справкам ничего ни хорошего, ни дурного за молодым человеком не обнаруживается, кроме именно очевидной смысленности. Вероятно, опытный миллионщик поначалу принимает его за очередного мелкого жулика, ловкача, потихоньку да полегоньку нагревающего руки на безобразном положении несчастных принцесс, и оттого действовать решает открыто. Либо приглашает смысленного парня к себе, либо является сам, что вполне может быть, поскольку человек он простой, и прямо предлагает выгодную и безобидную сделку, по известному принципу: мы мне, я тебе. И план Пари дю Верне до крайности прост: под любым благовидным предлогом Пьер Огюстен затаскивает короля в Военную школу на Марсовом поле и получает за это, поначалу, конечно, не помощь с кредитом и с сердцем в придачу, а всего лишь патент королевского секретаря,

дающий дворянство и узаконивающий пока что не имеющее никакого значения звучное имя де Бомарше.

Ну, для Пьера Огюстена выполнить столь безобидное поручение не составляет никакого труда, тем более что его порядочность, честность несколько здесь не страдают, так как ему, натурально, не открывают никаких закулисных историй, которые за королевским посещением Военной школы стоят. Король воюет, стало быть, при дворе то и дело судачат и сплетничают о военных и околовоеенных делах. Пьер Огюстен поддерживает один из таких разговоров, затеянный в присутствии принцесс и дофина, и между прочим рассказывает, какая замечательная Военная школа процветает в Париже и как славно маленькие мальчики там маршируют, почти как дофин.

Принцессы умирают от скуки. Стоит их поманить, они ринутся на край света, лишь бы немного рассеяться. Вся компания погружается в «комнатный горшок» и катит на Марсово поле. Пьер Огюстен проводит нежданных гостей по коридорам и залам, сам приходит в неподдельный восторг, поскольку высоко ценит прекрасное, фантазия его распаляется, а отсутствием красноречия он никогда не страдал. Принцессы тоже приходят в восторг и в оба уха жужжат королю, какая это великолепная школа и как необходимо ему её осмотреть. Ничего не подделаешь, король ведь тоже скучает, да и ради несчастных принцесс, которым он уделяет слишком мало внимания, приходится ехать. В честь короля предусмотрительный пари дю Верне возжигает фейерверк и устраивает кавалерийский парад. Королю ничего не остается, как выдержать роль рыцаря до конца и отобедать у этого торгаша дю Верне, а заодно, может быть, и послушать его вскользь брошенные суждения о французских, английских и российских делах.

Как видим, поручение исполняется самым блистательным образом. Финансист и богач свое слово держит исправно, и какое-то время спустя Пьер Огюстен получает патент королевского секретаря, за который уплачено пятьдесят пять тысяч ливров, а вместе с патентом и звание французского дворянина, впрочем, в этом звании пока что не имеется особой нужды.

Казалось бы, по завершении сделки отношения между меценатом и молодым человеком без определенных занятий могли и должны прекратиться. Каждый из них получил то, что хотел. Чего же ещё? Конечно, войти в доверие к такому тузу для Пьера Огюстена было бы бесценной удачей, но сам он не предпринимает ничего, что могло бы послужить его выгоде. Для этого он слишком неиспорченный, неискушенный, слишком непосредственный человек.

Зато Пари дю Верне человек проницательный. Две-три встречи открывают ему, что перед ним не жулик и не ловкач, потихоньку присосавшийся к бездонной королевской казне. Он приглядывается поближе, попристальней и, я думаю, к немалому своему изумлению обнаруживает, что перед ним честнейший, правдивейший, благороднейший молодой человек, простой до наивности, наделенный такими талантами, какие редко бывают на свете, то есть этот финансист и торговец понимает отчетливо то, что только смутно чувствует, но несколько не понимает король. К тому же молодому человеку ещё не исполнилось тридцати, а это значит, что стареющему Пари дю Верне он годится во внуки.

В семьдесят шесть лет человек, всего достигший неустанными, причем собственными трудами, сокрушаем заботами, обуреваем печалью. Дело жизни, сооруженное им, громадно, неизмеримо, бросить такое дело на произвол судьбы невозможно, а кому он его передаст? Племяннику Мейзье, этому странно-воинственному полковнику, с энтузиазмом школящему двенадцатилетних подростков? Другим дальним родственникам, ещё более чуждым ему? В свое, уже недалекое время они получают его достояние и будут сверхсчастливы оттого, что им свалится с неба приятная возможность беззаботно и бестолково прожить его миллионы, тогда как умного пари дю Верне беспокоят вовсе не миллионы, к судьбе которых он по-своему равнодушен и которые готов вкладывать чуть не в любые благотворительные дела. Этого мудрого старца тревожат судьбы сословия, к которому он принадлежит по рождению, приниженного, бесправного, принужденного за деньги, добытые трудом, покупать любую уступку, тогда как

именно это сословие работает на земле, производит товары, торгует и держит в своих руках финансы страны. Ещё больше тревожат его судьбы Франции, которую позорят, бесчестят и обворовывают привилегированные сословия, дворянство и духовенство, а вместе с ними паразитическая, недальновидная королевская власть. Пятьдесят лет он оказывает услуги своему сословию и возлюбленной Франции, за что кардинал Флери, некогда управлявший правительством и самим королем, приговаривал его к изгнанию и к разорению, и он настолько опытный, сильный боец, что ни разорить, ни сломить его не удалось даже кардиналу Флери, человеку, несомненно, всесильному. Уже и теперь пора кому-нибудь прийти на помощь одинокому старому человеку, разум которого всё ещё ясен и трезв, но физические силы которого уже начинают понемногу сдавать. Пора кого-нибудь посвятить во все тайны своих финансовых и политических дел и впоследствии благословить на защиту интересов Франции, интересов сословия, лишенного прав.

Никого достойней, надежней и преданней, чем этот безвестный молодой человек, трудолюбивый и честный, бескорыстный и добросовестный, энергичный и дерзкий, проникательный и одаренный так разнообразно и щедро, что, кажется, ему решительно всё по плечу. Конечно, молодой человек абсолютно неопытен и довольно поверхностно образован, да при его одаренности это нетрудно поправить. К тому же молодой человек наделен такой искренностью, таким обаянием, что за эти несколько встреч Пари дю Верне успевает его полюбить, полюбить как сына и внука, больше того, как лучшего друга, которого, может быть, у него не завелось во всю его долгую жизнь, причем старику приходится преодолевать визгливое сопротивление своих многочисленных племянников и племянниц, которые, как и придворные лизоблюды, тотчас угадывают в Пьере Огюстене соперника и начинают против него необъявленную, хоть и мышиную, но изнурительную войну, так что очень скоро новым друзьям приходится устраивать тайные встречи, точно двум заговорщикам, и однажды Пьер Огюстен напишет своему старшему другу:

«Мы так давно уже не обнимались. Потешные мы любовники! Мы не смеем встречаться, опасаясь гримасы, которую скорчат родственники: но это не мешает нам любить друг друга...»

Видимо, их отношения складываются и упрочиваются не сразу. Пари дю Верне слишком большой, осторожный, опытный человек, чтобы в один день чуть не первого встречного подпустить ко всем своим предприятиям. Известно, что первоначально он принимает своего нового друга в свои компаньоны лишь с легоньким правом на десятую долю доходов, точно желает проверить, испробовать, на что годится этот странный ловкач, разорившийся при дворе, где не обогащается только ленивый или круглый дурак. Вероятно, прежде всего он подпускает его к поставкам на армию, уже отчасти знакомым ему. Затем компаньоны приобретают лес под Парижем и совместными усилиями сводят его. В этих сравнительно мелких делах Пьер Огюстен получает первые серьезные навыки в коммерческих и банковских операциях и лишь позднее допускается к тайнам финансовой жизни, которую недаром считают кровеносной системой всего экономического организма страны.

Похоже, с этой премудростью Пьер Огюстен справляется довольно легко. Во всяком случае, с самых первых шагов компаньонства Пари дю Верне заботит явно другое. Видимо, на старости лет он осознает свою собственную ошибку и теперь решает исправить её, но уже в отношении своего компаньона. Вся жизнь Пари дю Верне гордится своей независимостью и действует тайно, за кулисами политической жизни, через подставных лиц и агентов, что не всегда удобно и далеко не всегда оказывается надежным, в чем его не могли не убедить рискованные проделки самовлюбленной маркизы де Помпадур. Куда верней и надежней пользоваться прямыми каналами, для чего следует занимать определенное место в государственном механизме, используя это официальное место на пользу политике, коммерции и финансам. Способности в этой области его компаньона, без малейшего усилия, без связей, без поддержки

и помощи со стороны утвердившегося в семье короля, представляются ему чрезвычайными. Эти способности Пари дю Верне и решает утилизировать прежде всего.

Патент королевского секретаря, полученный в обмен на услугу, дает законное право именоваться де Бомарше, однако это чересчур свежее имя, все ещё помнят отлично другую фамилию и к новой привыкают с величайшим трудом. Так вот, необходимо, чтобы прежнее имя, имя часовщика, поскорее забыли. Все его следы надобно уничтожить как можно скорей. Вот почему Пьер Огюстен просит отца снять с вывески, зазывающей в мастерскую заказчиков, свое имя, чтобы оно не попадалось никому на глаза. Старейший Андре Шарль, овдовевший пять лет назад, страдающий такими сильными коликами в потрепанных почках, что время от времени помышляет о самоубийстве, сам когда-то притворно вступивший под сень ненавидимой католической церкви, не совсем понимает, для чего понадобилось единственному наследнику его имени отречься от этого почтенного достояния предков, и какое-то время глупо упорствует, как будто дает обещания, однако не слишком торопится их исполнять. Наконец Пьер Огюстен обращается к старику с довольно пространном письмом, в котором, в частности, говорит:

«до сих пор у меня не было оснований думать, будто в Ваши намерения входит неизменно отказывать мне в том, чем Вы сами совсем не дорожите, но что в корне меняет мою судьбу из-за дурацкой манеры смотреть на вещи в этой стране. Коль скоро не в наших силах изменить предрассудок, приходится ему покориться – у меня нет иного пути для продвижения вперед, которого я желаю для нашего общего блага и счастья семьи...»

После столь твердых заверений о благе и счастье семьи кряжистый отец наконец соглашается снять свою поблекшую от времени вывеску, и когда в конце года Пьер Огюстен получает патент королевского секретаря, его первое, плебейское имя почти исчезает из оборота. Старшая сестра Мари Жозеф, выйдя замуж, именуется мадам Гильберт и переезжает в Мадрид, а затем, когда обнаруживается, что её супруг не совсем здраво владеет своими умственными способностями, в помощь себе выписывает Мари Луиз, и обе выпадают из памяти парижан. Мадлен Франсуаз выходит за часовщика Лепика. Остаются Мари Жюли и Жанн Маргарит. С ними тоже происходит метаморфоза. С начала 1762 года и до конца своих дней любимая из сестер начинает именоваться, как и брат, де Бомарше, а немного спустя Жанн Маргарит принимает имя своего дяди де Буагарнье. Таким образом, значительная часть семейства часовщика избавляется от компрометирующей фамилии предков и приобретает дворянство, хотя бы только для внешности, в угоду предрассудкам общественного устройства с привилегиями одних и отсутствием прав для других.

Весьма кстати, поскольку Пьер Огюстен готовится сделать ещё один шаг, чтобы не только подняться выше по общественной лестнице, но и закрепиться на одном из важнейших постов в государственном механизме, открывающем почти неограниченные возможности как для коммерческих и финансовых операций, так и для закулисного проникновения в круг людей, принимающих политические решения, что особенно улыбается изворотливому Пари дю Верне.

Дело в том, что в иной мир отправляется один из восемнадцати главных лесничих французского королевства, и его должность некоторое время остается вакантной, потому что, и абсолютно официально, стоит полмиллиона, а такими деньгами, согласитесь, свободно располагает далеко не каждый француз. Пари дю Верне тотчас оценивает ситуацию по достоинству и предлагает своему компаньону недостающие полмиллиона. Все-таки должность так высока, что требует предъявления дворянской грамоты и личного утверждения короля. Дворянской грамоты Пьер Огюстен, разумеется, никакой не имеет, даже самой паршивой, у него только патент, дающий право именовать себя дворянином, поскольку никакой родословной у него не видать и ни в какие геральдические книги его имя не внесено. Зато у него имеется некоторая близость к семье короля. Следовательно, роли распределяются так: Пари дю Верне раскрывает свой кошелек, а Пьер Огюстен, уже собственными талантами, прокладывает путь к печати и подписи короля.

Никаких особых преград на этом пути поначалу он не встречает. Принцессы, конечно, согласны его поддержать. Малыш-дофин, конечно, на его стороне, что придает его ходатайству вес, поскольку никто не захочет связываться с тем, кого обожают дофин. Генерального контролера тоже удастся уговорить. Остается вырвать согласие у семнадцати главных лесничих, чтобы бумага попала на стол короля, подпись которого в таких обстоятельствах не вызывает сомнений.

Именно в этой промежуточной, однако немаловажной инстанции возникают непредвиденные преграды, причины которой довольно туманны, хотя можно попытаться их угадать. Скорее всего, знакомые соперники при дворе снова вступают в игру. Когда-то они уже вытаскивали на свет божий папашу Карона. Теперь кто-то вновь нашептывает главным лесничим, что Пьер Огюстен никакой не де Бомарше, а всего лишь Карон, простолюдин, сын часовщика и сам часовщик, а возможно, что к этому времени, как он попадает под пристальное внимание, выплывает наружу и кальвинистское прошлое, которое в сто раз опасней, чем отсутствие тысячелетних прав на дворянство.

Собравшись на заседание, семнадцать оставшихся в живых главных лесничих с какой-то необъяснимой яростью отвергают притязания этого выскочки, причем они кем-то взвинчены до того, что кой-кто из них угрожает отставкой, если должность достанется этому подозрительному и неприятному чужаку. Генеральный контролер сперепугу берет свое слово назад. Дело срывается. Принцессы бросаются к королю. Король, разумеется, может спокойнехонько плюнуть на главных лесничих и генерального контролера и подписать документ, однако бестолковый безвольный король, легко пережив множество скандалов больших, на этот маленький скандал, неожиданно для принцесс, не желает пойти.

В этот переломный момент Пьер Огюстен направляет генеральному контролеру убийственной силы разоблачительное письмо, которое должно сыграть роль разорвавшейся бомбы и либо разом выиграть дело, либо разом его проиграть. Сведения, наполняющие это послание, он, вероятней всего, получает из прекрасно составленных обширных досье, собиравшихся Пари дю Верне в течение всей его жизни. Непонятно, одобряет ли его старший друг самую идею послания, но этому тертому калачу наверняка нравится дерзость, с какой его молодой друг бросается на своих недальновидных врагов:

«Вместо ответа я сделаю смотр семьям и недавней сословной принадлежности некоторых из главных лесничих, о которых мне представили весьма точные сведения...»

Первым он берется за главного лесничего Орлеана и одного из его главных противников, который ныне гордо именуется д, Арбони, а в действительности зовется просто Эрве и является сыном ремесленника, занятого изготовлением париков, что не помешало признать этого простолюдина главным лесничим, хотя нельзя исключить, что в юности он помогал отцу в его ремесле.

Затем приходит очередь главного лесничего Бургундии, который ныне именуется де Маризи, а в действительности зовется Леграном и приходится сыном чесальщику и шерстобиту из предместья Марсо, позднее купившему лавочку одеял неподалеку от предместья Сен Лоран и этим нажившему состояние. Сын шерстобита и продавца одеял женился на дочери седельщика Лафонтена и взял имя де Маризи, и этого оказалось достаточно, чтобы признать его главным лесничим без возражений.

Третьим он представляет главного лесничего Шалона, сына еврея Телле-Лакоста, торговца украшениями и подержанными вещами, который разбогател с помощью Пари дю Верне, что навело сыпана мысль именоваться просто Телле, и этого тоже оказалось достаточно, чтобы сделаться главным лесничим.

Под номером четвертым попадает ему под перо Дювесель, сын ремесленника, изготовлявшего пуговицы, сперва служившего у своего брата в переулке неподалеку от Фера, затем

купившего лавку, и никто не возразил против избрания человека с такой родословной главным лесничим Парижа.

Не приходится удивляться, что это мастерски исполненное послание, наспигованное достоверными фактами, доводит главных лесничих Французского королевства до бешенства. Главные лесничие ополчаются на нового претендента с такой неслыханной яростью, что король в панике отступает, и дело, сулящее громадные выгоды и преимущества, с треском проваливается.

Собственно, это первое серьезное испытание, которое Пьер Огюстен проходит под руководством Пари дю Верне, и, по всей вероятности, его старший товарищ находит, что испытание он вполне сносно выдерживает.

В самом деле, в этом послании на имя генерального контролера перед нами уже проступают черты нового человека. Бывший часовщик, учитель музыки в покоях всеми брошенных дочерей короля, общительный и веселый, неопытный, мало чему научившийся, теперь прекрасно разбирается в юридических тонкостях, великолепно владеет пером, а главное, становится ядовит и вполне уверен в себе. Если в истории с украденным анкерным спуском, обращаясь к общественному мнению, он всего лишь толково и связно излагает правдивую историю своих отношений с негодяем Лепотом, но нисколько не задевает его доброго имени, то спустя восемь лет он открыто ввязывается в борьбу за свое место под солнцем и разит противника наповал, не ведая снисхожденья и зависти, поскольку уже знает им настоящую цену.

Пари дю Верне не может не оценить по достоинству таких перемен и вскоре приискивает ему новую должность. Спустя несколько месяцев после битвы с лесничими освобождается место старшего судьи Луврского егермейстерства и Большого охотничьего двора Франции. На этот раз старший компаньон вновь раскрывает свой кошелек, и младший, наученный горьким опытом первой битвы за должность, обходит всех должностных лиц и прямо обращается к королю, Король, должно быть, рад загладить чувство некоторой вины перед ним и втихомолку подписывает документ о его назначении.

Пьер Огюстен становится первым чиновником при герцоге де Лавальере, генерал-егермейстере, пэре и великом сокольничем Франции, то есть фактически поступает под его покровительство. Кроме того, эта своеобразная должность дает ему старшинство над графом де Рошешуаром и графом де Марковилем, принадлежащим к старым аристократическим семьям. Отныне один раз в неделю он торжественно облачается в черную судейскую мантию, в одном из залов Лувра опускается в кресло, затканное королевскими лилиями, и ведет дела по браконьерству в королевских лесах и о незаконной ловле рыбы в королевских прудах, а такие дела чаще других заводятся на аристократов, имеющих дурную привычку рыбачить и охотиться там, где им вздумается, что позволяет ему приглядеться к аристократам поближе и с другой стороны, ещё не виданной им, и заодно на практике познакомиться с удивительной путаницей законов, который до того противоречат друг другу, что поистине их можно толковать как угодно, не помышляя о справедливости, что и делается повсюду в королевских судах.

Спустя ещё год он приобретает красивый представительный особняк на улице принца Конде, 26 и устраивается в нем если не роскошно, то очень удобно. Это не теснота мастерской на улице Сен-Дени, с её крохотной столовой, крохотной гостиной и ещё более крохотными спальнями. На улице Конде настоящий простор, и он без промедления переселяет сюда всех своих близких и в первую очередь приглашает одинокого больного отца, лишний раз доказав, что он вовсе не карьерист и не ловкач, поскольку настоящий карьерист и ловкач должен был раз навсегда порвать все связи с незнатным отцом и никогда не видеть его. Не в силах дожидаться приятного соединения с сыном, Андре Шарль со слезами на глазах спешит выразить ему свои чувства:

«Я благословляю с умилением небо, даровавшее мне на старости лет опору в сыне, столь по натуре прекрасном, и мое нынешнее положение не только не унижает меня, но, напротив,

возвышает и согревает мою душу трогательной мыслью, что я обязан моим теперешним благоденствием, после Господа Бога, только одному сыну».

Тут выясняется, как следствие переселения к сыну, что Андре Шарль, хотя и болен, но не так уж и дряхл. У отставного чановщика и драгуна обнаруживается пара невест, которые с упорным старанием обхаживают его, так что Андре Шарль затрудняется предпочесть мадам Грюэль или мадам Анри, пока наконец не избирает последнюю.

Разумеется, вместе с отцом на улицу принца Конде переселяются сестры, Мари Жюли де Бомарше и Жанн Маргарит де Буагарнье. В качестве частых гостей к ним присоединяется дальняя родственница Полин де Бретон, креолка с островов Сан-Доминго, и её тетка Гаше. Затем, почуяв скопление молодых привлекательных женщин, всё чаще начинают заглядывать молодой адвокат Жан де Мизон, конюший королевы де ла Шатеньере, и, тоже креол, шевалье де Сегиран. Дым в этом доме нередко идет коромыслом. Для веселого сборища Пьер Огюстен сочиняет легкие шарады и сценки. Образуется домашний театр. Играют на всех инструментах, пляшут, поют, читают стихи. Натурально, все влюблены, и Мари Жюли де Бомарше непринужденно извещает об этом:

«Дом – любовная пороховница, он живет любовью и надеждами; я живу ими успешнее всех прочих, потому что влюблена не так сильно. Бомарше – странный тип, он изнуряет и огорчает Полин своим легкомыслием. Буагарнье и Мизон рассуждают о чувствах до потери рассудка, упорядоченно распаяя себя, пока не впадут в блаженный беспорядок; мы с шевалье и того хуже: он влюблен как ангел, горяч как архангел и испепеляющ как серафим; я весела как зяблик, хороша как Купидон и лукава как бес. Любовь меня не дурманит сладкими напевами, как других, а всё же, как я ни сумасбродна, меня тянет её испробовать; вот дьявольский соблазн!..»

Отношения Пьера Огюстена с Полиной де Бретон невероятно запутаны, и представляется вероятным, что путаницу вносит она. Креолка, появившаяся на свет под жарким солнцем блистательных южных широт, богатая наследница с именем стоимостью в два миллиона, она рано осиротела и живет в Париже с теткой Гаше, которая следит за ней как цепной пес и стережет её нравственность едва ли не суровой и пристальной настоятельницы монастыря. В свои семнадцать лет Полин де Бретон твердо знает, чего она хочет: богатого и надежного мужа. Она неглупа, у неё самостоятельный и твердый характер. Внезапно разбогатевший, идущий в гору кузен представляется ей вполне подходящим супругом, и она принимается завлекать его в свои сети, довольно прочные для любого другого, однако для Пьера Огюстена чересчур примитивные. Она ошибается, предполагая, как предполагают и многие, будто начинающий коммерсант и судья егермейстерства мечтает только о том, как бы поскорее разбогатеть и взобраться наверх. Конечно, они музицируют, так как Пьер Огюстен прекрасно владеет любым инструментом, а у неё очаровательный голос, душевный и гибкий, Они целуются, когда остаются одни. Она роняет где попало платки, которые просит в довольно двусмысленных письмах вернуть, возвращая то, что, скорее всего, по-родственному крадет у него, чтобы поставить его в неловкое положение:

«Вот, дорогой друг мой, Ваша сорочка, которая была у меня и которую я Вам отсылаю. В пакете также мой носовой платок, прошу Вас им воспользоваться, а мне отослать тот, что я забыла у Вас вчера. Вы не можете сомневаться, что меня весьма огорчило бы, попадись он на глаза Вашим сестрам... Нежный и жестокий друг, когда жен ты перестанешь меня терзать и делать несчастной, как теперь! В какой обиде на тебя моя душа!..»

Создается впечатление, что и платок позабыт, и сорочка у неё очутилась не зря, однако все эти платки и сорочки – одна только видимость недозволенной близости. Женщина не называет мужчину жестоким, если только вчера была с ним близка, и если она страшится, что его сестры увидят злополучный платок, то чего ради посылает другой? Разве сестры другого платка не увидят?

В действительности Полин де Бретон слишком практична, чтобы до вступления в брак ему уступить, к тому же отсутствуют признаки, чтобы он в поте лица добивался её. В своих письмах она то и дело возвращается к своим миллионам. В два миллиона оценивается поместье, расположенное на Сан-Доминго, ещё не восставшей тогда французской колонии. Сама она поместья своего не видала. Никто толком поместьем не занимается. До неё доходят туманные слухи, что поместье очень расстроено, как будто даже заложено. Она обращается к кузену и другу за помощью, точно соблазняя его сказочными богатствами южных морей. Пьер Огюстен со всеми до крайности добр. Отчего же не помочь милой кузине, по внешности деликатной и нежной, походившей всё ещё на ребенка? Ощувив свою силу, осмыслив цель своей жизни, под сказанную Пари дю Верне, он уже не стесняется беспокоить министров своими делами. Получив же протекцию от министра, он за помощью обращается к губернатору Сан-Доминго, затем пересылает собственные деньги на остров, чтобы привести в должный порядок запущенные плантации, наконец туда же отправляет дальнего родственника Пишона, кузена своей матери, которому поручает защищать имущественные интересы Полин де Бретон.

Всё это он делает для неё бескорыстно. Ничего другого он не может ей предложить, кроме шуток и разного рода забав, может быть, потому, что со свойственной ему проницательностью не может не разгадать, что эта девушка несколько не понимает его и видит в его скромной персоне лишь благопристойного мужа, заботясь при этом лишь о себе. Видимо, по этой причине одно из своих писем он адресует насмешливо «мадемуазель, мадам или мсье де ла Крысье, проживающим в Суме, что на улице и реке при заставе невинных». В другом письме он подшучивает над чем-то, нам не понятном, однако и это послание свидетельствует в пользу полной невинности их отношений:

«Дорогая кузина, Ваши развлечения весьма похвальны, я знаю в них толк и вполне удовлетворился бы ими, будь я приглашен. Чего же Вам недостает, дорогая кузина? Разве у Вас нет Вашей Жюли? Кто-нибудь лишает Вас свободы хорошо или дурно думать о Вашем кузене? И разве адвокат своими ухищрениями не заставляет Вас частенько говорить: гадкий пёс! Молитесь за себя, дорогая кузина. С каких это пор на Вас возложена забота о душах? Спали ли вместе с Жюли? Хорошенькими же вещами Вы там занимаетесь! Между тем я не знаю, о каком это зяте пишет мне тетушка. Итак, Жюли спит с Вами! Не будь я Бомарше, мне хотелось бы быть Жюли. Однако терпенье...»

Нет, недаром его сестра сообщает, что он изводит Полин де Бретон своим легкомыслием. Он морочит ей голову. Ей так и не удастся уловить его в свои сети.

Он отшучивается, потрясая молодую креолку своим легкомыслием, как она ошибочно именуется его упорное нежелание жениться на ней или на её миллионах. Он исчезает, поскольку у него множество самых деликатных и запутанных дел, о которых не следует знать никому, и, само собой разумеется, большая часть этих дел ведет его к Пари дю Верне, который с недавнего времени посвящает его не только в тонкости коммерческих и финансовых операций, но и в глубочайшие, всегда тайные пружины высокой политики.

Изредка не желающий стареть покровитель и компаньон приглашает молодую компанию с улицы принца Конде, 26 в живописные окрестности Ножан-сюр-Марн, где проводит летнее время в великолепном замке Плезанс, когда-то купленном у одного из ленивых аристократов, далеко не первый симптом, что приходит то время, когда разбогатевшие дети пекарей и трактирщиков, часовщиков и крестьян скупают имущество обнищавшей аристократии, и вся эта толпа приглашенных, безнадежно, страстно или равнодушно влюбленных друг в друга, носится по гулким залам дворца или по зеленым аллеям и лужайкам старинного парка.

Из цветущего замка Плезанс прямая дорожка ведет в богатейший замок Этиоль, также откупленный у аристократа, нынче принадлежащий Шарлю Ленорману, крупному финансисту, генеральному откупщику, так странно женатому на Жанн Антуанетт Пауссон, получившей известность самого скандального свойства под горьким именем маркизы де Помпадур.

Замок тоже прекрасен, однако его обстановка более способствует самой бесшабашной веселости, поскольку маркиза де Помпадур получила отставку, вновь превратилась в скромную мадам Ленорман, страшно скучает после Версаля, досаждает вновь обретенному мужу и слугам капризам, которые совсем недавно с каким-то даже испугом исполнялись мягкотелым Людовиком, выписывает к себе кой-кого из дам той же складки, что и она, вроде мадам д, Эпине, окружает себя довольно потертыми, далеко не блестящими кавалерами, хорошо понимающими, как мало они могут выпросить у отставной фаворитки, как мало могут от нее получить.

Всё же в такое, несмотря ни на что, блестящее общество Пьер Огюстен на правах близкого, чуть не интимного гостя попадает впервые. Ничего нет удивительного в том, что, как по мановению волшебства, кардинально изменяется вся его внешность. Отныне своим обликом, повадками и манерами он походит не на усердного труженика, не на талантливого ремесленника, никогда не учившегося хорошему обхождению, а на придворного кавалера, правда, по-прежнему с милостливой ямочкой, украшающей подбородок, с большим ртом, крупными чертами лица, характерными для простолюдина, с лукавым проницательным взглядом пробуждающегося художника, одетого нарядно, в модный камзол, с выпущенными тончайшими кружевами манжет и жабо, в великолепно подвитом парике, с кошельком из черных шелковых лент, прикрывающих не без кокетства косичку, спокойный, вполне уверенный в себе человек, улыбающийся чуть насмешливой и все-таки любезной улыбкой, К тому же он вечно весел, находчив и горазд на забавы. Вокруг него всё кипит и искрится, точно всем и каждому передается его энергия, кипучесть, бесстрашие и азарт.

Понятно, что все эти перезрелые дамочки с серьезно потрепанной репутацией от него без ума. Они роями и в одиночку осаждают его, что впоследствии порождает множество игривых легенд о бесчисленных и нечистоплотных его похождениях. Много ли истины в этих колючих легендах? Как знать? Впоследствии сам он выражается довольно двусмысленно:

«Если я в ту пору делал женщин несчастными, тому виной они сами – каждая хотела счастья для себя одной, а мне казалось, что в огромном саду, именуемом миром, каждый цветок имеет право на взгляд любителя...»

Такого рода признания могут толковаться так, как угодно душе толкователя. Он делает женщин несчастными? В каком смысле, позвольте узнать? В том смысле, что беззаботно их оставляет после нескольких встреч в тиши уже никем не охраняемых спален? Или в том, что беспечно отвергает их чересчур откровенные притязания? Ему представляется, что всякий цветок достоин взгляда любителя? Однако опять же, в – каком это смысле? В том ли, что он без конца переходит из постели в постель? Или в том, что он с удовольствием флиртует со всеми, не отдавая себя ни одной?

Вообще же, надо отметить, что художник в нем пробуждается, и он, как всякий художник, не столько атакующий субъект, сколько атакуемый объект. Его, конечно, довольно легко покорить, поскольку в душе художник всегда до ужаса одинок, но его трудно, почти нельзя удержать, поскольку он с особенной остротой ощущает всякую фальшь, и, как видим, уже в возрасте тридцати лет, когда его тревожат только самые первые, самые смутные призывы искусства, хорошо различает, что сам по себе он этим изолгавшимся, истаскавшимся шлюхам абсолютно не нужен, что они озабочены только самими собой, что они только жаждут последних, особенно терпких утех для своих изношенных тел. Сохраним по возможности покров тайны на том, что происходит, когда после искусных маневров одна из них остается с ним в соблазнительном наедине, однако отметим особо, что он же знает, чего их ласки стоят в действительности.

Потому что не одна его внешность переменилась, он переменился особенно им значительно внутренне. Он пристально изучает, он с каждым днем всё глубже познает этот мир, имея проницательный ум и опытного наставника, каким, несомненно, является Пари дю Верне. Он видит, что этот мир раззолоченных приживалов и приживалок не только чужд, но и отвра-

тителен, враждебен ему. Они ничего не умеют, кроме разврата. Они не ведают иных чувств, кроме самомнения и презрения к тем, кто копошится внизу общественной пирамиды и своим неустанным трудом создает богатства и славу страны.

Он больше не исполнительный часовщик, не увлеченный и увлекающий меломан, почтительно обучающий музыке малодаровитых дочерей, не странный придворный, по торжественным дням сопровождающий королевскую тарелку с жарким, не дерзкий простолюдин, умело защищающий свою честь от злобных атак а нападок своекорыстных придворных, От защиты он переходит сам к нападению, причем он не нападает на какую-то отдельную личность, с намерением наступившую ему на любимый мозоль, как делают все при дворе, поскольку личных врагов у него, в сущности, нет. Он нападает на аристократию целиком, на всё сословие без исключения, независимо от того, родовита она или недавно купила права, он пока ещё не хлещет это паразитическое сословие со всей своей силой, а только колет, язвит и смеется над ним, но когда он совместно с Жюли, любимейшей из сестер, носящей его новое имя, разыгрывает в Этиоле шарады, сочиненные на скорую руку на забаву собравшейся публике, наспигованные грубыми колкостями и площадными остротами в духе простонародного фарса, имеющего шумный успех в балаганах на ярмарках, в этих шарадах внезапно вспыхивают такие беспощадные шутки, от которых многим из беззаботных гостей, только вчера по случаю или за деньги нацепившие дворянское звание, нередко через смелое воровство, лизоблюдство или постель, становится явно не по себе. Судите сами, что и как отвечает Жан-дурак на вопрос о его родословной:

– Разумеется, сударь, это мой дед по отцовской, материнской, братской, теткинкой, надоедской линии. Это ведь тот самый Жан-Вертел, который тыкал раскаленной железкой в задницу прохожим в лютые морозы на Новом мосту. Те, кому это было не в охотку, возмещали ему хотя бы расходы на уголь, так что он быстрехонько составил себе состояние. Сын его стал королевским секретарем, смотрителем свиного языка; его внук, семи пядей во лбу, он таперича советник-докладчик при дворе, это мой кузен Лалюре. Жан-Вертел, мадемуазель, которого вы, конечно, знаете, Жан-Вертел отец, Жан-Вертел мать, Жан-Вертел дочери и все прочие, вся семья Вертела в близком родстве с Жопиньонами, от которых вы ведете свой род, потому что покойная Манон Жан-Вертел, моя двоюродная бабка, вышла за Жопиньона, того самого, у которого был большой шрам посреди бороды, он подцепил его при атаке Пизы, так что рот у него был сикись-накись и слегка портил физиономию.

Если такого рода колкости он отпускает во время празднеств со сцены в шарадах, специально предназначенных для потехи почтеннейшей публики, то в обычное время и в более тесном кругу его язык становится куда более дерзким и язвит так, что далеко не всем приходится по нутру. Во всяком случае некто, не оставивший истории даже имени, дворянин, шевалье, то ли из ревности, то ли разгоряченный одной из его наперченных бесцеремонных острот, затевает с ним ссору и по всем правилам вызывает его на дуэль. Оскорбитель и оскорбленный, прихватив с собой в качестве секундантов друзей, скачут верхами к Медонскому парку, спешиваются, сбрасывают камзолы и шляпы, обнажают рапиры и сходятся в поединке. Давным-давно приобретенное Пьером Огюстеном мастерство фехтования, не ржавея с годами, оказывается не только блестящим, но и неотразимым. Не проходит минуты, как шевалье падает, пораженный в самую грудь, видимо, близко от сердца. Кровь хлещет из раны чуть не фонтаном, так, во всяком случае, передают ошеломленные очевидцы. Потрясенный Пьер Огюстен, видимо, не ожидавший – сам от себя такой прыти, бросается к несчастному забияке и пробует заткнуть смертельную рану платком. Что касается шевалье, то умирающий будто бы хрипло шепчет ему:

– Сударь, знайте, вы пропали, если вас увидят, если узнают, что это вы меня жизни лишили.

После чего отдает Богу душу, чуть не у него на руках.

Опасность наказания за такую проделку, разумеется, велика. Пьер Огюстен галопом скачет в Версаль, со своим даром повествователя рассказывает о роковом поединке дочерям короля, Аделаида, Виктория и Софи бросаются к королю и пересказывают старому ловеласу романтическое приключение в самом возвышенном свете, и Людовик XV великодушно прощает своего хранителя трапезы, секретаря и судью, так что история получает вполне благополучный финал.

Однако зрелище убитого им человека оставляет глубочайший след в легко ранимой душе столь некстати искусного фехтовальщика. Видимо, в эти дни он не раз клянется себе, что никакого оружия больше не обнажит никогда, что бы с ним ни стряслось, и на этот раз держит слово до конца своих дней. Во всяком случае не успевает душа бедного шевалье отлететь, как некий мсье де Саблиер, видимо, не желающий учитывать прискорбный опыт покойного, в свою очередь затевает с ним ссору, и Пьер Огюстен отвечает на вызов запиской, которую при других обстоятельствах можно было бы для его чести считать унижительной:

«Я надеюсь убедить Вас, что не только не ищу повода подраться, но более чем кто-либо стараюсь этого избежать...»

Этой запиской он совершает куда более значительный подвиг, чем самое блистательное убийство противника на поединке. Теперь он созрел. Он вполне владеет собой. Его время пришло. Наступает пора проверить себя в серьезных делах.

И он проверяет себя.

## Глава седьмая

### Проба сил

Эта запутанная история начинается абсолютно внезапно для всех, кто пристально занимается судьбой моего неподражаемого героя. Дело в том, что его старшие сестры, поселившись в Мадриде, открывшие для знатных испанок хорошо посещаемую модную лавку, живущие, судя по всему, припеваючи и никогда не беспокоившие ни престарелого отца, ни тем более младшего брата посланиями хотя бы в несколько строк, вдруг объявляют об ужасающем бедствии, в котором будто бы они пребывают, притом, что интересно, пребывают довольно давно, а известить об этом бедствии своего дорого отца решаются только теперь, то есть весной 1764 года, когда от Мари Жозеф Гильберт прилетает драматического свойства послание:

«Лизетт оскорблена человеком, столь же влиятельным, сколь и опасным. Дважды, уже готовый на ней жениться, он вдруг отказывался от данного слова и исчезал, не считая нужным даже принести извинений за свое поведение; чувства моей опозоренной сестры повергли её в состояние, опасное для жизни, и весьма вероятно, что нам не удастся её спасти: её нервы сдали, и вот уже шесть дней, как она ни с кем не говорит. Позор, обрушившийся на неё, вынудил нас закрыть дом для всех, я день и ночь плачу в одиночестве, осыпая несчастную утешениями, которыми не в состоянии успокоить даже себя самое. Всею Мадриду известно, что Лизетт не в чем себя упрекнуть. Если мой брат...»

В общем, её брат прямо-таки обязан без промедления спасти поруганную честь и самую жизнь обеих сестриц от посягательств какого-то изверга, который чем-то им угрожает, поскольку именуется человеком не только влиятельным, но и опасным.

Вызывает большое сомнение уже то, что этот загадочный брачный отступник опасен для той, на которой отказался жениться. Убить он её собирается, что ли? И отчего он так опасен после того, как во второй раз отступил от своего благородного слова, однако нисколько не был опасен после того, как отступил от него в первый раз? И каким он располагает влиянием? И отчего всё же поверглась Лизетт в состояние, до того для её жизни опасное, что её едва ли можно спасти?

По правде сказать, всё семейство Каронов отличается удивительным обаянием, так что у всех у них поклонников и поклонниц хоть отбавляй, и если у кого частенько трещит голова, так скорей у поклонников и поклонниц, чем у Каронов. Нетрудно предположить, что Лизетт за свои тридцать четыре года получает не первое предложение и что она сама не слишком торопится замуж, как и сестра её Мари Жюли, с недавнего времени де Бомарше. Если все-таки Лизетт составляет в этой семье исключение, то и в таком случае трудно понять, отчего банальный отказ жениться на ней поставил её жизнь под угрозу, так что брату, имеющему множество серьезных занятий в Париже, надо непременно сломя голову мчаться в Мадрид и спасти её мерзавца или могилы.

Выясняется также, что Хосе Клавихо, этот ужасно опасный субъект, в действительности малоизвестный журналист и поэт, издающий в Мадриде еженедельник «Мыслитель», о котором друзья говорят, что у него сильная мысль и блистательный стиль, однако в действительности ни мысли, ни стиль не приносят ему никаких ощутимых успехов на поприще журналистики. Наряду с этими попытками прославиться в публицистике и в стихах и продраться в мыслители он занимает скромную должность хранителя королевских архивов, за что получает довольно скудное содержание, так что никакого влияния на короля или на кого бы то ни было из сильных мира сего не имеет и не может, конечно, иметь, что в дальнейшем и подтверждается самым для него неприятнейшим образом.

Наконец замечательно то, что, получив такое громовое послание, кипящий родственными чувствами брат мчится спасать находящуюся на краю могилы сестру не на другой день,

даже и не на третий, а спустя целых два месяца, пропустив весь апрель и весь май, хотя она там всё это время, бедняжка, ужасно молчит, причем обнаруживается, что Пари дю Верне выдает ему двести тысяч ливров на путевые расходы, а какие-то неизвестные люди, имеющие большой вес как при французском, так и при испанском дворе, снабжают рекомендациями, адресованными не кому-нибудь, а лично испанскому королю, так что выходит, будто трагическая участь несчастной Лизетт оказывается дорога как старшему другу и компаньону, так и некоторым государственным деятелям Французского королевства, и что для спасения несчастной Лизетт необходимо вмешательство самого испанского короля Карлоса 111. Боже мой, из каких тяжелых орудий собираются палить по этому воробью, всего лишь журналисту, поэту и хранителю королевских архивов! Да ещё если припомнить при этом, что Пьер Огюстен так виртуозно владеет папирой, которой обыкновенно и разрешаются такого рода дела!

Честное слово, я бы нисколько не удивился, если бы как-нибудь оказалось, что Пьер Огюстен сам попросил Мари Жозеф направить ему это душераздирающее послание, да сам же и сочинил его своим в иных случаях чересчур пылким и выразительным стилем, единственно потому, что для вечно глазающей публики ему нужен подходящий предлог покинуть Париж и провести довольно длительное время в испанской столице, а вернее сказать, кому-то позарез нужно отправить в этот паршивый Мадрид – малоизвестного человека, недаром же в это сугубо семейное дело за кулисами вмешивается и ловкий на тайные комбинации Пари дю Верне, и причастный к высшей политике, чуть ли не сам Шуазель, государственный секретарь по военным делам, получивший должность, кстати сказать, из рук неотразимой маркизы де Помпадур.

В самом деле, Испания неожиданно приобретает особенный вес во французских делах. Семилетняя война проиграна с треском, единственно потому, что французский кабинет совершает ошибки одну за другой. Вместо того, чтобы всемерно укреплять свой морской флот и своевременно пополнять свои редеющие полки, расквартированные в Канаде, на восточном побережье Америки, в Бенгалии и в Сенегале, французский король укрепляет финансы маркизы де Помпадур и отчасти австрийскую армию, на что ежегодно швыряет, чуть не на ветер, около двадцати пяти миллионов ливров, выколачивая эти летучие миллионы из французского населения с помощью налогов и тайных операций при покупке и продаже хлеба, за что рядовые французы с каким-то особенным озлоблением ненавидят австрийцев, чувство, разумеется недостойное, низкое, даже презренное, однако одно из решающих для судеб монархии, разлагающейся у всех на глазах.

Не менее прискорбной ошибкой оказывается недооценка далекой России, этого медведя, колосса, неудержимо возвышающегося на востоке раздираемой взаимной ненавистью Европы, уже готового играть в европейской политике ведущую, причем далекую от привычной для европейцев агрессии роль. В результате французские, к тому же малодаровитые генералы не поддерживают победоносную активность русских полков, Затем внезапные смены правления, нагрянувшие одна за другой, и своевременные интриги английского кабинета останавливают русскую активность против большого жаждой обширных захватов прусского короля, что позволяет полуразбитому Фридриху приподняться с земли, пособрать свои силы и ещё понадевать хлопот медлительным и бестолковым союзникам, тогда как практичные англичане, вполне довольные искусно заваренной кашей на континенте, методически колотят французов в колониях. Напрасно Людовик в последний момент заключает союз с таким же недалеким, как он, испанским Бурбоном: испанцы в регулярной войне сражаются значительно хуже французов, а испанский флот, давно устаревший, представляет собой зрелище поистине жалкое.

Итог подводится в 1763 году, итог чрезвычайно печальный. Мирный трактат отнимает у Франции всю Канаду и весь левый берег прекрасной реки Миссисипи, причем правый берег, Луизиану, удается спасти только поспешной передачей её испанской короне, затем Франция теряет все владения в Африке и почти всю Французскую Индию, за исключением нескольких опорных пунктов для поддержания довольно вялой французской торговли, и к этим тяжелым

утратам прибавляется ещё почти полное истребление французского военного флота, несмотря на все старания герцога де Ришелье. Вот во что обходится французской короне необдуманый союз с австрийскими Габсбургами, состряпанный стараниями маркизы де Помпадур. Важно ещё подчеркнуть, что вместе со значительно потрепанной Францией ни за что ни про что страдает Испания, у которой напористые английские дипломаты урывают Флориду и важный в стратегическом отношении остров Минорку.

На языке трезвых политиков такие итоги в итоге семи лет войны означают не только национальный позор, но и полный провал, если не конец французского преобладания в Европе. Граф де Сегюр подводит печальный итог:

«Таким образом, у правительства больше не стало ни порядка в финансах, ни твердой политики. Франция утратила свое влияние в Европе: Англия спокойно господствовала на морях и беспрепятственно завоевала обе Индии. Северные державы разделили Польшу. Равновесие, установленное Вестфальским миром, рухнуло. Французская монархия перестала быть державой первого ранга и позволила занять это место Екатерине II...»

«Война роскоши», как её обзывают французы, слишком дорого обходится нации, причем как раз в момент становления национального самосознания, так что любая утрата престижа воспринимается нацией с особенной болью. Все недовольны бестолковой политикой короля. Простонародье ненавидит австрийцев, не особенно вникая в глубинные причины внезапного сближения со старой противницей Австрией, однако, естественно, самодержавный король не обращает никакого внимания на брожение в толщах народа. В среде предпринимателей и торговцев бродит несколько разных течений. Одни предлагают вовсе отказаться от войн, предпочитая вкладывать средства в близящееся к развалу хозяйство, и находятся в откровенной оппозиции к королю, на что самодержавный король, желающий воевать где бы то ни было, за что бы то ни было и с кем бы то ни было, единственно оттого, что себя рыцарем возомнил, опять-таки не обращает никакого внимания. Другие резко возражают против сближения как с испанскими Бурбонами, так и с австрийскими Габсбургами, не без основания полагая, что такое сближение предаёт национальные интересы, и предлагают политику короля заменить новой политикой, которая опиралась бы на верховенство народа, на что самодержавный король обращает ещё меньше внимания. Третьи находят необходимым выступить и против Англии и против Австрии, чтобы воротить Франции первое место в Европе, на что самодержавный король опять-таки не обращает никакого внимания, поскольку национальные интересы не согревают сердце того, кому принадлежит известная, печально-знаменитая фраза: «После меня хоть потоп». Наконец четвертые понимают, что единственным по-настоящему опасным противником Франции и в дальних колониях, и поблизости на континенте является стремительно растущая Англия, и они предлагают собрать воедино не только все силы Франции, но и силы всего континента в борьбе против своего могущественного соседа, причем эта война должна вестись прежде всего в колониях и за колонии, но они видят своими союзниками не разложившихся Бурбонов Испании, не обветшавших Габсбургов Австрии, а испанских и австрийских предпринимателей и коммерсантов, в эту минуту прежде всего испанских предпринимателей и коммерсантов, поскольку Испания всё ещё сохраняет хоть какой-нибудь флот, хоть какие-нибудь колониальные территории, которые того гляди у них оттяпает всё та же ненасытная Англия, а испанский король Карлос III, находящийся под решающим воздействием своего камердинера, французского подданного, начинает понемногу политику протекционизма, чрезвычайно выгодную для испанских предпринимателей и коммерсантов, на что французский Людовик взирает с большим озлоблением, поскольку рыцарски презирает всех этих жуликов и барыг.

Именно последней линии во внешней политике придерживается преуспевающий финансист Пари дю Верне, а вместе с ним и министр Шуазель, суровый, замкнутый, умный, прекрасный дипломат и политик, так что может даже показаться со стороны, что все карты у них на

руках, поскольку уж кто-кто, а министр короля имеет прямую возможность воздействовать на внешнюю политику королевства.

И воздействовать необходимо без промедления, поскольку английские дипломаты на всех направлениях обходят французскую дипломатию. Только что, одиннадцатого апреля 1764 года, в российской столице Никитой Паниным и прусским посланником Сольмсом подписан важный, далеко ведущий – трактат. Трактат предусматривает оборонительный союз двух держав сроком на восемь лет. Россия и Пруссия гарантируют одна другой неприкосновенность границ, военную и финансовую помощь в случае нападения на одну из сторон, что прямо метит в сторону Франции, а также защиту торговых интересов, что для Франции после потери колоний горше всего. Наконец договаривающиеся стороны обеспечивают неприкосновенность конституции Польши и Швеции, причем Россия присваивает себе право выдвигать кандидата на польский престол, а Пруссия соглашается в любом случае русского кандидата поддерживать, и это в то самое время, когда Франция выдвигает своего кандидата на польский престол, но этого кандидата никто не желает поддерживать, и только что французскому посланнику Вержену не удалось толкнуть Турцию против России и потребовать, чтобы она отозвала своего кандидата на польский престол. Трактат между Россией и Пруссией явным образом означает для Франции потерю давнего влияния в Польше и Швеции, направленного именно против России. Не исключено ей на беду, что к трактату присоединится и Дания. Что Англия поддерживает этот трактат, об этом не надо и говорить. К тому же в Петербурге, Лондоне и Мадриде стараниями Уильяма Питта плетется замечательно прочная сеть: Англия предоставляет России, в непосредственной близости от берегов Франции, замечательный остров минорку с прекрасной морской базой в Порт-Магоне, куда Россия может ввести свой мощный флот, а уж это, согласитесь, конец французского владычества не только в Средиземном море, но и в Атлантике вообще.

И это не пустые слова. Как раз в эти печальные дни до Парижа добирается прямо-таки поражающий воображение слух. Оказывается, какой-то тульский купец уговаривает других тульских купцов и учреждает нечто вроде торгового дома, Этот тульский торговый дом намеревается вести прямую торговлю с Италией, что и само по себе непостижимо уму. И уж совсем трудно переварить, что сама государыня, опираясь на тот самый паршивый трактат, не только поддерживает этот фантастический замысел, но и на свои средства закладывает фрегат, который несет на своем борту тридцать шесть пушек. Так вот, Беранже, французский посол в Петербурге, передает, что фрегат уже спущен на воду, что его трюмы уже принимают груз юфти, парусины, железа, табака, воска, икры и канатов и готовится к выходу в море. Даже название фрегата обещает мало хорошего: «Надежда благополучия». Да прорвись этот фрегат в самом деле в Италию, французской торговле на побережье Средиземного моря наступит конец. Надо, необходимо этому безобразию помешать. А как помешаешь, когда твой флот ничтожен, а твои армии разгромлены на всех континентах? Помешать может только интрига, интрига, как известно, могучая вещь, сплошь и рядом сильнее многих фрегатов и армий. В конце-то концов эта «Надежда благополучия» не может же невидимкой проскользнуть мимо Испании, стало быть, именно там в ближайшее время следует интригу сплести.

Как ты не всполошиться мудрому финансисту и прекрасному дипломату, как тут не завязаться в интриги, которые могли бы воздействовать на ход европейской политики, такой нынче неблагоприятный для Франции? Понятно без слов, что необходимо завязываться, воздействовать и действовать решительно, без промедления, не теряя времени даром, пока оно не ушло. Только в том-то и дело, что ни на что не может воздействовать ни прекрасный дипломат Шуазель, ни преуспевающий коммерсант и финансист Пари дю Верне. Всё идет наыворот в этой славной стране благодаря беспутствам этого самого самодержавного короля.

Как все недалекие, слабые люди, сам Людовик ничего не умеет и не верит решительно никому. Возможно, мало верит даже себе самому. Своим министрам, конечно, не верит в

первую очередь, Вернее сказать, находится со своими министрами в состоянии непрестанной войны, Война, само собой, ведется тайными средствами. Министры проводят официальную внешнюю и внутреннюю политику, а король, в пику им, проводит тайную, прямо противоположную внешнюю и внутреннюю политику. Всюду действуют его тайные эмиссары, и всюду эти тайные эмиссары делают прямо противоположные вещи тем официальным вещам, которые, с его же благословения, полагают нужным делать министры. Натурально, министры не все дураки. Так вот те, которые поумней, заводят своих эмиссаров, тоже, естественно, тайных, которые делают прямо противоположные вещи тем официальным вещам, которые с благословения короля делают сами министры, и тем противоположным вещам, которые делают тайные эмиссары самого короля. Опять-таки абсолютно понятно, что королю становится известно кое-что из действий этих тайных агентов, разосланных повсюду министрами, уже без его одобрения. Для нейтрализации этих тайных агентов, которых без его одобрения рассылают министры, король заводит лучшую во всей тогдашней Европе полицейскую службу, которая, в свою очередь, рассылает повсюду своих тайных агентов, следящих за официальными представителями министров, за тайными эмиссарами короля и за тайными эмиссарами расторопных министров, следят, понятное дело, с тем, чтобы своевременно отлавливать и тех и других.

Иначе сказать, черт ногу сломает в этой замечательной неразберихе с агентами, а делать что-то все-таки надо. И вот изобретаются такие агенты, в которых никакая, самая ловкая, самая проницательная полиция не угадает тайных агентов.

Несложно предположить, что одним из таких сверхтайных агентов теплой компанией министра и коммерсанта избирается Пьер Огюстен, так тщательно подготовленный и так великолепно оснащенный двумя такими могущественными сообщниками, как Шуазель и Пари дю Верне. Что ему даются ответственные сверхтайные поручения, немудрено заключить, если припомнить рекомендательные письма к самому испанскому королю и те крупные суммы, которыми он оснащен, когда скачет из Парижа в Мадрид, однако же смысл его поручений не так-то легко разгадать, поскольку Пьер Огюстен оказывается первоклассным сверхтайным агентом, в особенности же потому что в его особе довольно трудно заподозрить и самого простого агента, так замечательно удается ему сыграть эту труднейшую роль.

В самом деле, восемнадцатого мая 1764 года он влетает в Мадрид, обнимается с Мари Жозеф, третий месяц льющей бесплодные слезы, заговаривает с Лизетт, которая исправно третий месяц молчит, выясняет подробности сватовства и отказа жениться и уже на другой день рвет колокольчик у дверей чрезвычайно влиятельного и чрезвычайно опасного дона Хосе, безвестного журналиста и скромного хранителя королевских архивов. Можно подумать, что разгневанный брат прямо с порога швырнет в гнусную рожу закоренелого брачного афериста свою пропыленную дальней дорогой перчатку, а двадцатого мая, уединившись ненадолго в каком-нибудь укромном местечке, проткнет насквозь его шпагой, которой, как известно, владеет с таким поразительным мастерством, и двадцать первого мая с той же умопомрачительной скоростью помчится в Париж.

Ничуть не бывало. Пьер Огюстен с присущим ему красноречием изобличает мерзавца, причем изобличает не самого презренного дона Хосе, а с этой целью зачем-то изобретает похожий на него персонаж и, представившись литератором, хотя пока что им не является, рассказывает самовлюбленному журналисту под другими именами его же историю, единственно ради того, чтобы устыдить стервеца, причем свою цветистую речь произносит с пафосом не столько кровно оскорбленного брата, сколько натренированного в риторике судебного обвинителя. Он с жаром изображает глубоко оскорбленных сестер и не менее оскорбленного брата, который, испросив отпуск, мчится из Парижа в Мадрид, и заключает внезапно:

– Этот брат – я! Я бросил всё, отчизну, дела, семью, обязанности и развлечения, чтобы явиться в Испанию и отомстить за сестру, несчастную и невинную! Я приехал с полным правом

и твердым намерением сорвать маску с лица изменника и его же кровью изобразить на нем всю низость души злодея, а злодей этот – вы!

Дон Хосе, без сомнения, уже ощущает леденящее острие, приставленное к горлу или к груди, готовое пронзить насквозь его тщедушное тело. Нечего удивляться, что вид у него совершенно растерянный в этот момент:

«Только представьте себе этого человека, удивленного, ошарашенного моей речью, у него от изумления отвисает челюсть и слова застревают в горле, язык немеет; взгляните на эту радужную, расцветшую от моих похвал физиономию, которая мало-помалу мрачнеет, вытягивается, приобретает свинцовый оттенок...»

Я думаю, после такого бурного натиска хоть у кого челюсть отвиснет, только челюсть донна Хосе отвисает напрасно. Никакой крови не будет, потому что возмущенному брату оскорбленной невинности никакой крови просто не надо. Вся эта сцена оттого и принимает такой несоответственно-бурный характер, что Пьер Огюстен разыгрывает спектакль, и надо уже в этом месте отметить, что в будущем нас ожидают ещё более виртуозные, прямо фантастические спектакли. Ему нужно поднять страшный шум, ударить в колокола, чтобы эти олухи из тайной полиции короля приняли его именно за того, за кого он себя выдает. Он ничего более, как в ярости разбушевавшийся брат, глядите же на него, именно так донесите в Париж, после чего от него отвяжитесь, у него и без вас хлопот полон рот.

Правда, разыгранный эффект так силен, что его последствия несколько неожиданны для постановщика сцены. Дон Хосе, видимо, потерявший рассудок, падает перед ним на колени и восклицает:

– Если бы я только знал, что у донны Марии такой брат, как вы!

И тут же, не поднимаясь с колен, в третий раз просит руки божественной донны, по причине его коварства промолчавшей три месяца сплошь.

Прекрасно, скажете вы, дело сделано превосходно, молодых под венец, а счастливому брату в Париж.

Но именно скорейшее возвращение ненавистно столь энергичному брату. К тому же донна Мария призналась вчера, что, одной ногой очутившись у края могилы, она другой ногой преспокойно отыскала дорогу к сердцу некоего господина Дюрана, француза, и, несмотря на усиленное молчание по случаю вдребезги разбитого сердца, договорилась с ним о вступлении в брак.

Щекотливое положение несколько смущает разгоряченного брата. Чтобы выиграть время и наметить план новой атаки, Пьер Огюстен громогласно призывает трепещущего лакея донна Хосе и повелевает принести шоколад, точно распоряжается у себя на улице принца Конде, 26, затем сообщает, что его дело касается не женитьбы, что в его деле затронута честь, и ещё более строгим тоном повелевает окончательно ошалевшему дону Хосе, уже едва ли не с чугунным оттенком физиономии, писать объяснение, видимо, на всякий случай решивши заполучить документ, который бы подтверждал, ради чего он мчался в Мадрид. Дон Хосе безропотно соглашается написать что угодно. Пьер Огюстен тут же импровизирует и диктует ему, прохаживаясь по галерее типично испанского дома и мирно попивая исправно доставленный шоколад:

«Я, нижеподписавшийся, Хосе Клавиho, хранитель одного из архивов короля, признаю, что, будучи благосклонно принят в доме мадам Гильберт, низко обманул девицу Карон, её сестру, давши ей тысячу раз слово чести, что женюсь на ней; своего слова я не сдержал, хотя ей нельзя поставить в вину никаких слабостей или проступков, которые могли бы послужить предлогом или извинением моему позорному поступку; напротив, достойное поведение этой девицы, к которой я преисполнен глубочайшего уважения, неизменно отличалась безупречной чистотой. Я признаю, что своим поведением и легкомысленными речами, которые могли быть неверно истолкованы, я нанес явное оскорбление добродетельной этой девице, за что прошу у

неё прощения в письменном виде безо всякого принуждения и по доброй воле, хотя признаю, что совершенно недостойн этого прощения; при этом обещаю ей любое другое возмещение по её желанию, если она сочтет, что этого недостаточно...»

Естественно, такой важный для полиции, для семьи и для возможного мужа Дюрана без промедления отправляется на улицу принца Конде, 26, и ничего не подозревающий благодарный отец тотчас отправляет победоносному сыну прочувствованное письмо:

«Сколько сладостно, мой дорогой Бомарше, быть счастливым отцом сына, которого поступки так славно венчают конец моего жизненного пути! Мне уже ясно, что честь моей дорогой Лизетт спасена энергичными действиями, предпринятыми Вами в её защиту. О, друг мой, какой прекрасный свадебный подарок ей сия декларация Клавихо. Если можно судить о причине по результату, он, должно быть, крепко струхнул: право же, за всю империю Магомета вкупе с империей Оттоманской не пожелал бы я подписать подобного рода заявление: оно покрывает Вас славой, а его позором...»

Собственно, конечная цель, подвигнувшая крайне занятого человека спешно покинуть Париж, достигнута с блеском и с поразительной быстротой. Пьеру Огюстену, в сущности говоря, больше нечего делать в Мадриде, разве что дожидаться благополучной свадьбы Лизетт и Дюрана, и он, понимая, что времени отпущено мало, торопится встретиться с графом Оссоном, французским послом, с которым у него совершенно иного рода дела. Разумеется, эти дела нельзя отложить, поскольку именно ради них он и покидает Париж. Вся эта странная катавасия с доном Хосе только и затевается ради прикрытия этих дел, вот почему французский посол, точно ему нечем заняться, вводится в курс этой забавной истории и принимает её под свой неусыпный контроль, видимо, оттого, что и сам, со своей стороны, нуждается в надежном прикрытии, чтобы ввести в заблуждение всевидящую полицию короля.

Какие на самом деле завариваются с графом Оссоном дела, пока неизвестно, однако трудов хватает обоим. Внезапно дон Хосе, сбитый с толку или кем-то перепуганный на смерть, переправляет Пьеру Огюстену послание, в котором вновь требует руку Лизетт, в четвертый раз, если с начала считать:

«Я уже объяснялся, мсье, и самым недвусмысленным образом, относительно моего намерения возместить огорчения, невольно причиненные мною мадемуазель Карон; я вновь предложил ей стать моей женой, если только прошлые недоразумения не внушили ей неприязни ко мне. Я делаю это предложение со всей искренностью. Мое поведение и мои поступки продиктованы единственно желанием завоевать вновь её сердце, и мое счастье всецело зависит от успеха моих стараний; по этой причине я позволяю себе напомнить Вам слово, которое Вы мне дали, и прошу Вас быть посредником в нашем счастливом примирении. Я убежден, что для человека благородного унижить себя перед женщиной, им поруганной, высокая честь, и что тому, кто счел бы для себя унижительным просить прощение у мужчины, естественно видеть в признании своей вины перед особой другого пола лишь проявление добропорядочности...»

Абсолютно неизвестно, какая муха на этот раз укусила и в какое место этого странного жениха, как неизвестно и то, кто на этот раз водит его подневольной рукой, поскольку в этом послании не обнаруживается ни силы мысли, ни оригинальности слога, которые должны быть присущи издателю такого серьезного органа, каким он сам считает «Мыслитель». Во всяком случае для Пьера а Огюстена это внезапное сватовство явилось находкой, точно нарочно подстроенной милостивой судьбой. Он охотно берется за дело, ходатайствует перед скромной Лизетт, посылает к черту француза Дюрана, и ровно два дня спустя дон Хосе и Лизетт подписывают новое брачное соглашение:

«Мы, нижеподписавшиеся, Хосе и Мари Луиз Карон подтверждаем этим документом обещания принадлежать только друг другу, многократно данные нами, обязуясь освятить эти обещания таинством брака, как только это окажется возможным. В удостоверение чего мы

составили и подписали этот договор, заключенный между нами в Мадриде, сего мая 26, 1764 года...»

Разумеется, невозможно с точностью определить, когда оно исполнится, это совершение таинства брака, а все-таки лучше, если оно исполнится через год или два, и в самом деле, гонимый какой-то неведомой силой, дней десять спустя, дон Хосе стремительно исчезает из вида, и почему-то первым об этом непостижимом деянии узнает французский посол, от которого седьмого июня приносят подозрительного вида записку:

«Мсье, у меня сейчас был мсье Робиу, сообщивший, что мсье Клавихо явился в казарму Инвалидов, где заявил, что якобы ищет убежище, опасаясь насилия с Вашей стороны, так как несколько дней тому назад Вы вынудили его, приставив к груди пистолет, подписать документ, обязывающий его жениться на мадемуазель Карон, Вашей сестре. Нет нужды объяснять Вам, как я отношусь к приему столь недостойному. Но Вы сами хорошо понимаете – Ваше поведение в этой истории, каким бы порядочным и прямым оно ни было, может быть представлено в таком свете, что дело примет для Вас столь же неприятный, сколь и опасный оборот. По этой причине я рекомендую Вам ничего не говорить, не писать и не предпринимать, пока я с Вами не повидаюсь...»

Тут история сватовства уже совершенно запутывается и принимает какой-то сверхфантастический оборот, поскольку одна нелепость валится на другую, вторая на третью, и представляется, что нелепостям не будет конца, хотя всё это нагромождение нелепостей, по-видимому, сводится к одному: Пьер Огюстен всякий раз получает прекрасный предлог ещё на некоторое время позадержаться в Испании.

Сами судите, дон Хосе отчего-то является прямо в казармы и дает офицерам такие смутные показания о приставленном к груди пистолете, причем держит перед офицерами речь о таком частном деле, в котором замешаны иностранные подданные, а не подданные его величества испанского короля, что необходима тщательная проверка каждого слова, чтобы не испортить отношений с дружеской Францией, тем не менее в казармах тотчас решают арестовать иностранного подданного, однако не нынче, даже не завтра, и в конце концов находится офицер гвардии, который тайно является к этому иностранному подданному и говорит:

– Мсье Бомарше, не теряйте ни минуты, скройтесь не мешкая, иначе завтра утром вы будете арестованы в постели, приказ уже отдан, я пришел вас предупредить. Этот субъект – чудовище, он всех настроил против вас, всяческими обещаниями он морочил вам голову, намереваясь затем публично вас обвинить. Бегите, бегите сию же минуту – или, упрятанный в темницу, вы окажетесь без всякой протекции и защиты.

Странная манера морочить голову у этого дона Хосе, поскольку в течение нескольких дней он оставляет столько собственноручно подписанных документов, его обличающих, что этих документов достаточно для оправдания перед любым сколько-нибудь здравомыслящим человеком или любым сколько-нибудь справедливым судом. Тем не менее иностранному подданному, обладающему такими серьезными документами, предлагают бежать, точно преступнику, в такой степени кто-то невидимый заинтересован в скорейшем удалении его из Мадрида, и это предложение горячо поддерживает сам французский посол, точно он, являясь официальным представителем Французского королевства, дружественного Испании, не обязан взять от свою дипломатическую защиту своего безвинно оклеветанного соотечественника. Однако граф Оссон пренебрегает этой обязанностью и говорит:

– Уезжайте, мсье. Если вы будете арестованы, то, поскольку никто в вас здесь не заинтересован, все в конце концов придут к убеждению, что, раз вы наказаны, значит и виноваты, а потом другие события заставят о вас позабыть, ибо легковерие публики повсюду служит одной из самых надежных опор несправедливости. Уезжайте, говорю вам, уезжайте!

В самом деле, отчего бы подальше от греха не уехать? Честь Лизетт спасена и надежно защищена собственноручными заявлениями капризного дона Хосе, на худой конец можно

срочно Дюрана воротить из изгнания, за которого несколько ветренная Лизетт собиралась же замуж, пусть они будут счастливы, но счастливы без него, а ему и в Париже достанет хлопот.

Но нет, по своему ничтожному делу этот никому не известный француз, в котором здесь якобы не заинтересован никто, обращается напрямик к испанским министрам, министры, также напрямик, ведут его к главе кабинета Гримальди, Гримальди в то же мгновение оставляет дела государства и устраивает неведомому французцу прием у самого короля, видите ли, только затем, чтобы испанский король разрешил мудреный вопрос, кто кому приставил к груди пистолет и кто на ком в ближайшее время должен жениться, причем никаких документов, будто французского подданного кому-то взбрело в голову прямо из постели упрятать в тюрьму, французский подданный, разумеется, не имеет и не может иметь. И всё же испанский король с полным вниманием выслушивает французского подданного и выносит поистине королевский вердикт: Упомянутого Клавихо лишит занимаемой должности архивариуса и с королевской службы изгнать навсегда.

Натурально, решение во всех отношениях замечательное, главное, окончательно запутывающее первоначальный вопрос, за кого же предстоит выйти замуж безмолвно страждущей девице Карон, французской подданной, без малого тридцати пяти лет.

Вопрос разрешает Клавихо, в ожидании неминуемого ареста своего насильника с пистолетом в руке отчего-то укrywшийся в монастыре капуцинов. Из монастыря поступает письмо:

«О, мсье, что Вы наделали? Не станете ли Вы вечно упрекать себя в том, что легковерно принесли в жертву человека, Вам безмерно преданного, и в то самое время, когда тот должен был стать Вашим братом?..»

И в пятый раз просит бесценной руки старой девы, которая во всё это бурное время продолжает упорно молчать!

На полях этого непостижимого документа Пьер Огюстен делает яркую надпись:

«Вы – мой брат? Да я, скорее, убью её!..»

Однако не убивает ни сестру, ни беспардонного жениха, даже не ищет больше его, хотя того и не нужно вовсе искать, поскольку дон Хосе как ни в чем не бывало продолжает выпускать свой «Мыслитель» и довольно удачно прокладывает свой путь в журналистике, даже в литературе, за Дюрана молчашую Лизетт замуж тоже не выдает и вдруг ни с того ни с сего побуждает сестру оставаться навечно в девицах, на что сестра с удовольствием соглашается, судя по всему, без пистолета, приставленного к беззащитной груди, точно к этому моменту все актеры прекрасно разыграли свои роли, специально кем-то написанные для них, и теперь могут спокойно удалиться со сцены.

И они удаляются, более не напоминая ничем, что по-прежнему существуют на свете и предаются старым или новым страстям.

Более они никому не нужны.

## Глава восьмая

### Интриги при испанском дворе

После славно разыгранного спектакля Пьер Огюстен девять месяцев преспокойно остаётся в Испании, найдя более приличный предлог, разыгрывая новый, менее бурный спектакль, тем более достоверный, что он в самом деле увлекается этой своеобразной страной. Отныне он путешественник, влюбленный в Испанию. В Испании ему нравится решительно всё: обычаи, нравы, мелодии, бой быков и, конечно, фанданго, пожалуй, фанданго больше всего. Он наблюдает. Он изучает. Он увлекается. В письме к своему начальнику герцогу де Лавальеру, который отчего-то не призывает его немедленно возвратиться к исполнению обязанностей судьи, он пересказывает красочные картины рождественских праздников, во время которых монахини пляшут в храмах под дробный стук кастаньет. Он сам на модный мотив одной сегидильи сочиняет по-французски стишки, вместе с нотами печатает их, и эта безделка, в одно мгновение сделавшись модной, идет нарасхват, принеся ему первый в жизни литературный успех.

Он вступает в салоны. В салонах он живет жизнью весельчака, который всюду оказывается в центре внимания, придумывает всевозможные розыгрыши, шутки, забавы, шарады, так что вокруг него всё идет ходуном, доставляя величайшее наслаждение и почтеннейшей публике, и ему самому. Он, разумеется, не обходится без театра, и под его руководством и при его самом горячем участии разыгрывается комическая опера «Деревенский колдун», в которой он упражняется в пении, исполняя Любена, тогда как супруга одного из послов при испанском дворе пробует свои скромные силы в роли Аннетт. Наконец он садится за карточный стол, за которым мечется фараон и на кон ставятся безумные деньги, и он не боится их проиграть.

Другими словами, он естественно непринужденно, а потому и с громадным успехом разыгрывает роль светского человека, далеко не всегда такую приятную, как может показаться со стороны, в особенности если ты умен, порядочен и воспитан в строгих правилах суровой кальвинистской морали. Скажем, к примеру, по понятиям до того до крайности беспутного времени светскому человеку просто необходима любовница, причем всем известная дама, любовница напоказ, чтобы ни у кого не возникало ни малейших сомнений, что ты действительно принадлежишь к высшему обществу самых избранных грандов, которые щеголяют своими любовницами, как плюмажем на шляпе или брюссельскими кружевами по низу желтых, голубых или алых шелковых коротких штанов.

И Пьер Огюстен заводит любовницу, блистательную маркизу с именитым и звучным испанским именем де ла Крус, молодую, красивую, ветреную, абсолютно безнравственную и остроумную. Всюду он появляется рядом с ней, осыпает недорогими подарками, посвящает стишки весьма вольного содержания, а маркиза всюду афиширует свою пылкую страсть к этому очаровательному и модному кавалеру, он же хранит её медальон, который она дарит ему, и позднее не только увозит с собой, но до самой смерти держит в своем сундуке, впрочем, вперемешку с другими сувенирами и безделками.

Вот что он пишет отцу о своем отношении к ней, правда, в тот миг, когда она следит за каждым написанным словом:

«Здесь, в комнате, где я пишу, находится весьма благородная и весьма красивая дама, которая день-деньской посмеивается над Вами и надо мной. Она, например, говорит мне, что благодарит Вас за доброту, проявленную Вами к ней тридцать три года назад, когда Вы заложили фундамент тех любезных отношений, какие завязались у нас с ней тому месяца два. Я заверил её, что не премину об этом Вам написать, что и исполняю сейчас, ибо, пусть она и шутит, я всё же вправе радоваться её словам, как если бы они и в самом деле выражали её мысли...»

Тут, расшалившись, молодая маркиза вырывает перо и продолжает свою фривольную шутку:

«Я так думаю, я так чувствую, и я клянусь в том Вам, мсье...»

После чего перо вновь берет Пьер Огюстен, может быть, запечатлев на её безвинном челе поцелуй:

«Не премините и Вы из признательности выразить в первом же письме благодарность её светлости за благодарность, которую она к Вам испытывает, и ещё более того за милости, которыми она меня почтила. Признаюсь Вам, что мои испанские труды, не скрашивай их прелесть столь притягательного общества, были бы куда как горьки...»

Отец, по-своему даровитый, хоть и не так самобытно и ярко, как сын, с удовольствием отвечает, поскольку тоже не прочь пошутить:

«Хоть Вы уже не раз представляли мне возможность поздравить себя с тем, что я соблаговолил потрудиться в Ваших интересах тридцать три года назад, нет сомнения, – предугадай я в ту пору, что мои труды принесут Вам счастье слегка позабавить её очаровательную светлость, чья благодарность для меня великая честь, я сообщал бы своим усилиям некую преднамеренную направленность, что, возможно, сделало бы Вас ещё более любезным её прекрасным глазам. Благоволите заверить мадам маркизу в моем глубочайшем почтении и готовности быть её преданным слугой в Париже...»

Что все трое смеются и весело шутят, это, конечно, прекрасно и не может вызывать никаких возражений. Что же касается до меня, то именно в этом месте меня посещает сомнение. В самом деле, не подставная ли это любовница? Не очередная ли роль, которую приходится ему для отвода лаз разыграть? Не подставное ли это письмо, рассчитанное на интерес испанской и французской полиции, во все времена склонной из чужих писем черпать полезные сведения? Так ли спроста он непринужденно извещает отца о своих мелких шалостях и ту же намекает ему, что все эти благодарности прелестной маркизы за нечто интимное её подлинных мыслей вовсе не выражает?

Тут в первую очередь приходит на ум, что никакая она не маркиза, не де ла Крус, а французская подданная, носящая плебейское имя Жарант, хотя и приходится племянницей епископу Орлеанскому, всего лишь недавно вышла замуж за испанского генерала, занимающего несколько подозрительную должность инспектора, для исполнения которой генерал постоянно разъезжает по гарнизонам и по этой причине имеет самую точную, самую свежую информацию о состоянии испанской армии и её крепостей. Затем следует более важная, но и более гадкая новость: маркиза уже состоит любовницей, вовсе не мнимой, любовницей испанского короля Карлоса 111, и через неё Пьер Огюстен получает ценнейшие сведения из первых рук и обделывает свои коммерческие и некоммерческие дела. Наконец, этот ряд подвигов, которые совершает племянница епископа Орлеанского, подданная французского короля, венчается уже совершенно определенными обстоятельствами: как только обольстительная маркиза посещает королевскую спальню, Пьер Огюстен отправляет отчет Шуазелю, ведущему свою собственную политику, тщательно скрываемую от французского короля, и эти отчеты, кстати сказать, лишний раз подтверждают, что Пьер Огюстен выполняет в Испании поручения именно этого дальновидного и опытного министра, который через голову короля пытается служить благу Франции, как некогда через голову короля благу Франции служил кардинал Ришелье.

Объединив эти любопытные сведения, взвесив и обсудив их именно в этой последовательности, не могу не высказать подозрение, что маркиза де ла Крус, она же Жарант, племянница епископа Орлеанского, является платным агентом министра, который проявляет такой пристальный интерес к испанским делам, и Пьер Огюстен не может об этом не знать.

Неужели он до такого испорчен, до того развращен, что заводит интрижку с платным агентом? Неужели он безнравственен до того, что делит ложе с распутницей, которая только что перед тем спала с мужем, а после того отправляется в постель к королю, о чем тут же

докладывает новому милому другу? Неужели он до того двоедушен, что в то же время уговаривает стареющего отца скрепить священными узами брака одну его давнюю, с религиозной точки зрения вполне преступную связь? И поглядите, с какой искренностью, с каким теплым чувством проповедует он:

«Меня ничуть не удивляет Ваша к ней привязанность: я не знаю веселости благородней и сердца лучше. Мне бы хотелось, чтобы Вам посчастливилось внушить ей более пылкое ответное чувство. Она составит Ваше счастье, а Вы, безусловно, дадите ей возможность познать, что такое союз, зиждущийся на взаимной нежности и уважении, выдержавших двадцатипятилетнюю проверку. Она была замужем, но я готов дать руку на отсечение – она ещё не изведала до конца, что такое сердечные радости, и не насладились ими. Будь я на Вашем месте, мне хорошо известно, как бы я поступил, а будь я на её месте – как бы ответил; но я не Вы и не она, не мне распутывать этот клубок, с меня хватит своего...»

И отец в ответном письме очень трогательно отзывается о своей шестидесятилетней подруге, что едва ли бы было возможно, если бы он имел основания считать своего сына хлыщом:

«Вчера мы ужинали у моей доброй и милой приятельницы, которая весьма посмеялась, прочитав то место Вашего письма, где Вы пишете, как поступили бы, будь Вы мною, у неё нет на этот счет никаких сомнений, и она говорит, что охотно бы доверилась Вам и не целует Вас от всего сердца только потому, что Вы находитесь за триста лье от нее... Она в самом деле очаровательна и с каждым днем всё хорошеет. Я думаю так же, как Вы, и не раз говорил ей, что она ещё не изведала, что такое сердечные радости, и не насладились ими, её веселость – плод чистой совести, свободной от каких бы то ни было угрызений; добродетельная жизнь позволяет её телу наслаждаться спокойствием прекрасной души. Что до меня, то я люблю её безумно, и она отвечает мне полной взаимностью...»

В то же самое время Пьер Огюстен уговаривает сестру Жанн Маргарит, по собственной воле ставшую де Буагорнье, выйти замуж за человека внешне довольно смешного, но доброго, и поглядите опять, с каким искренним чувством он делает это:

«Да, он играет на виоле, это верно; каблуки у него на полдюйма выше, чем следует; когда он поет, голос его дребезжит; по вечерам он ест сырые яблоки, а по утрам ставит не менее сырые клистиры; Сплетничая, он диалектичен и холоден; у него есть какая-то нелепая склонность к педантизму где надо и где не надо, что, говоря по правде, может побудить какую-нибудь кокетку из Пале Рояля дать любовнику коленкой под зад; но порядочные люди на улице принца Конде руководствуются иными принципами: нельзя изгонять человека за парик, жилет или галоши, если у него доброе сердце и здравый ум...»

Именно в то же самое время, в Испании, когда он блистает в салонах иноземных послов, ведет большую игру и выставляет напоказ свои любовные отношения с заведомой шлюхой, он склоняется к мысли, что ему необходимо жениться на своей давней приятельнице креолке Полин де Бретон, которая, по сведениям, полученным с Сан-Доминго, не имеет ни двух миллионов, ни плодородных плантаций, не имеет к тому же такого громкого имени как де ла Крус.

Вообще, почему он так ядовито впоследствии хохочет над Альмавивой, который от скуки запускает руку под каждую юбку, почему он так искренне славит верность Розины и честнейшей Сюзанн и почему в его лучшей комедии речь идет о женитьбе, к которой через множество самых разнообразных преград мужественно стремится добродетельный Фигаро?

Нет, по-моему, всё это только игра с молодой красивой маркизой. О своей действительной жизни он более искренне пишет отцу, когда остается один и ничей острый глаз не следит за бегом пера:

«Доброй ночи, дорогой отец; уже половина двенадцатого, сейчас приму сок папоротника, поскольку вот уже три дня у меня нестерпимый насморк; завернусь в свой испанский плащ, нахлобучу на голову добрую широкополую шляпу – здесь это именуется быть «в плаще и в

шляпе», а когда мужчина, набросив плащ на плечи, прикрывает им часть лица, говорят, что он «прикрывший часть лица», и вот, приняв все эти меры предосторожности, в наглухо закрытой карете, я отправлюсь по делам. Желая Вам доброго здоровья. Перечитывая это письмо, я был вынужден двадцать раз править, чтобы сообщить ему хотя бы некоторую стройность, но посылаю его Вас неперебеленным – это Вам в наказание за то, что читаете мои письма другим и снимаете с них копии...»

Под покровом тайны и темноты Пьер Огюстен исполняет данные ему поручения, продвигает свои истинные дела. Размах этих тайных дел грандиозен. Успех любого из них может принести громадные деньги и Пари дю Верне, и ему самому, а вместе с личным обогащением должен значительно укрепить позиции Франции в неповоротливой, отсталой Испании, а может быть, и восстановить, хотя бы отчасти, её утраченные интересы в Америке. Уже тут проступает замечательная черта всех его коммерческих и политических предприятий, которые он во множестве затеет в течение жизни: его коммерческие дела большей частью преследуют далеко идущие общественно-политические интересы отечества, но и в самых грандиозных общественно-политических предприятиях на благо отечества он не забывает о своих коммерческих выгодах, стремясь получить максимальную прибыль на вложенный капитал всегда и везде. Уже в те испанские времена в нем выступает наружу серьезный, вдумчивый реалист, деловой человек нового типа, ещё крайне редко встречающийся тогда, стремящийся соединить коммерческую доходность своих предприятий и служение высшим потребностям нации.

Конечно, испанские предприятия задуманы Пари дю Верне, впрочем, возможно не без участия Шуазеля. Самые замыслы явным образом принадлежат не ему. Молодому человеку в этой компании отводится трудная роль исполнителя, однако замыслы своего друга и компаньона осуществляются им с завидным искусством, причем он ни разу не поступается ни интересами Франции, ни коммерческой выгодой, своей и своих компаньонов.

Большую часть умственных сил он отдает грандиозному проекту проникновения французского капитала в испанскую Луизиану. Он предлагает испанским министрам, затем главе кабинета Гримальди, затем королю Карлосу 111 основать совместное предприятие по образцу английской Ост-Индской компании, причем французские предприниматели должны получить концессию на двадцать лет, в связи с тем, что Испания пока что не имеет реальных возможностей приступить к разработке природных богатств своей американской провинции, к налаживанию там постоянного широкого рынка и производства сырья, причем для работы на плантациях Луизианы предлагается ввозить негров из Африки, стоимость которых, цена перевозки и прибыль дотошно высчитываются в этом проекте, без излишних угрызений совести и нравственных колебаний, поскольку в рыночных отношениях товаром является решительно всё, на что имеется спрос, а в колониях пока что слишком немного белых переселенцев, чтобы эффективно производить хлопок, табак и какао. Выгоды этого проекта для обеих сторон очевидны: французский капитал, уже накопленный и сконцентрированный в немногих цепких руках, осваивает новый обширнейший рынок, едва ли не превосходящий по емкости рынки Леванта, и, разумеется, в течение двадцати лет получает громадные прибыли, а казна Карлоса 111 пополняется значительным и регулярным платежом по концессии, какого в обозримом будущем не сможет получить от испанских предпринимателей, ещё только начинающих приобретать сноровку в такого рода делах и понемногу обогащаться, то здесь, то там с трудом прорывая заслоны, на всех торговых путях надежно устроенные испанскими грандами, которые, опираясь на свои привилегии, исправно обирают страну.

Второй проект ещё выгодней для Испании. Пьер Огюстен предлагает направить свободные французские капиталы на освоение пустующих безводных территорий Сьерра-Морены граничащих с Андалусией причем испанская казна предоставляет субсидии так что вновь возникает совместное предприятие чрезвычайно выгодное во всех отношениях поскольку не

только осваивается целая область Испании но и часть доходов вскоре полученных от неё обогащает казну.

Возможно этот серьезный проект лишь обозначен в Париж и существовал там в самых общих чертах. Вся практическую разработку Пьер Огюстен берет на себя. Он подыскивает помощника и заваливает его поручениями, которые свидетельствуют о том, с какой дотошностью он подходит к каждому делу. Он просит узнать, какова температура воздуха в этих пока что бесплодных горах, где именно предпочтительнее начать первые строительные работы, достаточно ли там воды и леса, пригодного для строительства, каковы наиболее надежные рынки экспорта этого края как через Андалусию, так и через Ламанчу, есть ли поблизости от дель Висо, последнего из селений Ламанчи, или неподалеку от Байлена, первого селения Андалусии, или на расстоянии примерно в две мили между этими пунктами какие-либо ручьи или реки в Сьерра-Морене, которые текут к Кадису и могут быть превращены в судоходные, есть ли в Сьерра-Морене какие-либо другие места, более подходящие для строительства, потому ли, что они ближе к морю, или по каким-либо иным условиям, которые благоприятствуют устройству нового поселения, каково качество земли, глинистая ли она, каменистая или песчаная, годится ли она для рытья шахт, настолько ли высоки горы, чтобы создавать значительные затруднения для перевозок, много ли снега выпадает зимой, много ли дождей летом, не попадут ли вновь созданные приходы в подчинение к епископу Кордовы, не граничит ли эта часть Сьерры-Морены на большом протяжении с владениями герцога Медины-Сидония, какое расстояние между дель Висо и Мадридом и между Байленом и Кадисом, имеется ли там природный строительный материал, или придется наладить производство кирпича, какие дикие растения всходят на этой земле после поднятия целины, чтобы судить о том, какие культуры предпочтительнее возделывать в этих местах.

Затем следует третий пункт, видимо, связанный со вторым или служащий его дополнением: он предлагает систему снабжения провиантом испанской армии на территории всего королевства, включая Майорку и гарнизоны африканских колоний. Какие громадные прибыли эта программа сулит ему и его компаньонам, очевидно само собой, однако, спрашивается, каким образом этот проект служит процветанию Франции? Не противоречит ли он, напротив, её стратегическим интересам, укрепляя армию соседней страны? В действительности, только что потерпевшая серьезное поражение Франция нуждается в сильном и боеспособном союзнике, заинтересованном в войне с англичанами, тогда как испанская армия крайне слаба.

Все три проекта один за другим обрушиваются на головы ленивых министров, недалёкого первого министра Гримальди и беспомощного Карлоса 111 и все три вызывают с их стороны большой интерес. Начинается обычная процедура: знакомство с проектом, консультации, обсуждения, бестолковая канитель, неизбежная при слабовольном правителе и малодаровитом главе кабинета.

Пьер Огюстен вовсе не склонен играть роль стороннего наблюдателя. Его энергия чуть не кипит, требуя действия, а изобретательность не имеет границ. В его уме так и клубятся проекты и предприятия самого разнообразного свойства. Причем всякий раз, когда он решается что-нибудь предложить, он неизменно выказывает себя реалистом чистой воды, умеющим примениться к неуступчивым обстоятельствам, не помышляя вставать в неблагодарную позу отвлеченного моралиста или пробивать кирпичную стену собственным лбом.

Обстоятельства более чем неуступчивы, обстоятельства прямо враждебны ему. Испанская аристократия живет, помимо королевских подачек, доходами овцеводства, ради чего отесняет крестьян на малоудобные, прямо скудные земли, так что испанские земледельцы прозябают в ужасающей нищете и количество населения в Испании почти не растет. Вся внешняя торговля находится в цепких руках торговцев Кадиса, которые, разумеется, не подпускают к ней конкурентов, покупая у грандов, господствующих при королевском дворе, за громадные деньги всевозможные привилегии, которые обеспечивают им высокий доход. Таким обра-

зом, все нити политики и государственного хозяйства находятся в руках грандов, отягощенных перстнями, украшенными дорогими камнями. Чтобы продвинуть мало-мальское дело, необходимо подкупать грандов, и подкупать, само собой, не скупясь.

Для Пьера Огюстена продажность испанской аристократии вовсе не является ошеломляющей новостью, то же самое происходит во Франции, то же самое происходит везде, и он, как и во Франции, обильно рассыпает дукаты в дырявые карманы сиятельных грандов, надеясь их молитвами продвинуть проекты, выгодные их же стране, выгодные королевской казне, выгодные, стало быть, им же самим, поскольку они черпают из королевской казны не стесняясь. Но тут мало чему помогают дукаты. Его размашистые проекты больно ударяют по национальным амбициям, в Испании чрезвычайно высоким. Признавая очевидную выгодность французских проектов для внешней политики и финансов Испании, приближенные короля не хотят отдавать воплощение этих проектов на откуп паршивым французам и предпочли бы продать, за хорошие деньги, концессии и устройство новых поселений испанцам, если бы у испанцев хорошие деньги нашлись.

Невозможно определить, какими полномочиями его наделяют в Париже. С уверенностью можно предположить только то, что в Мадриде у него пробуждается вкус не только к большой игре в фараон, но и к большим политическим и коммерческим играм. По инструкциям Шуазеля или по собственному почину у него возникает далеко идущая комбинация, цель которой состоит в том, чтобы получить возможность непосредственного воздействия на слабовольного короля Карлоса, используя разнообразные закулисные связи, начиная с незаурядных способностей маркизы де ла Крус. Вполне вероятно, его замыслы не ограничиваются одной испанской политикой. Напротив, он с похвальным усердием посещает открытый салон английского посланника при испанском дворе, так что лорд Рошфор очень скоро становится его другом, что в политике едва ли не важнее боеспособности армий и флота. Ещё более любопытно, что он становится своим человеком в салоне российского посланника Бутурлина и до того очаровывает его молодую жену, что та чуть не носит его на руках. Естественно, докладная записка о налаженных связях ложится на рабочий стол Шуазеля, и министр, ознакомившись с ней, оставляет её в своем личном архиве, благодаря чему содержание записки становится известно потомкам.

Правда, комбинация не совсем удастся. В общих чертах король Карлос принимает сторону французского коммерсанта, однако, связанный придворными по рукам и ногам, одобряет только последний проект, касающийся правильного хода поставок на армию. Под соглашением ставится королевская подпись, разрешающая войти в сношения с маркизом Эскилаче, военным министром и министром финансов. В Испании, опутанной волокитой и взятками, так редко что-нибудь удается, тем более чужестранцу, что в Мадриде только и разговоров, что о невероятном успехе его предприятия. Его поздравляют, в особенности в салонах Бутурлина и Рошфора, которые знают толк в такого рода делах. Пьер Огюстен принимает поздравления с мудрым молчанием. Пьер Огюстен понимает, что преграды устранены не вполне, и ждет указаний. Его гложут сомнения. Он готовится к худшему. Об этом он пишет отцу:

«Доброй ночи, дорогой отец; верьте мне и ничему не удивляйтесь – ни моему успеху, ни обратному, если таковое случится. Тут есть десятки причин для благополучного исхода и сотни – для дурного; если говорить о моем возрасте, я в годах, когда мощь тела и ума возносят человека на вершину его возможностей. Мне скоро тридцать три. В двадцать четыре я сидел меж четырех окон. Я твердо намерен добиться за двадцать лет, отделяющих ту пору от моего сорокалетия, результата, который дается лишь упорным усилием – сладкого чувства покоя, на мой взгляд, истинно приятного только в том случае, если оно награда за труды молодости...»

Его дурные предчувствия во многом оправдываются. Аборигены-монополисты, разужнав подробности его великолепных проектов, со своей стороны принимают интриговать при дворе, не только рассыпая ещё больше звонких дукатов, чем сыплет их конкурент из сумм,

ассигнованных на эти цели Пари дю Верне, но с ещё большим успехом спекулируя на болезненном чувстве патриотизма. В конце концов реализация его высокодоходных проектов, суля в общей сложности до двадцати миллионов ливров прибыли в год, передается в руки испанцев, впрочем, решительно невозможно со всей определенностью утверждать, что эти ловкие местные воротилы не оказались, в свою очередь, хотя бы отчасти, подставными лицами в его закулисной игре. Бесспорно одно: он немало приобретает за эти несколько месяцев неустанных интриг при испанском дворе. Его материальное положение становится намного прочнее, а доверие к нему Шуазеля и Пари дю Верне уже не нарушается никогда. К тому же как-то случается так, что переговоры между российским посланником Бутурлиным и английским посланником лордом Рошфором заходят в тупик и русской эскадре не удается обосноваться в прекрасной гавани Порт-Магон, что для Франции важнее всего. Разумеется, такой результат может быть лишь совпадением, и Пьер Огюстен тут решительно не при чем, тем более что «Надежда благополучия» беспрепятственно прибывает в Ливорно и разгружается там к большой выгоде компании тульских купцов.

Самое же большое приобретение – полученный опыт. Он ещё в первый раз так глубоко заглядывает за кулисы общественной и политической жизни, пусть чужой, но своими проблемами и социальной структурой очень близко напоминающей Францию. Мелкий ум в своих неудачах винил бы отдельные – Пьер Огюстен за отдельными лицами открывает неизлечимые пороки системы и пишет об этом своему непосредственному начальнику герцогу де Лавальеру, заметьте, судейскому чиновнику Франции:

«Гражданское судопроизводство в этой стране отягощено формальностями, ещё более запутанными, чем наши, добиться чего-нибудь через суд настолько трудно, что к нему прибегают лишь в самом крайнем случае. В судебной процедуре здесь царит в полном смысле слова мерзость запустения, предсказанная Даниилом. Прежде чем выслушать свидетелей при рассмотрении гражданского дела, их сажают под арест, так что какого-нибудь дворянина, случайно знающего, что господин имярек действительно либо должник, либо законный наследник, либо доверенное лицо и т. п., берут под стражу и запирают в тюрьму, едва начинается слушанье дела, и потому только, что он должен засвидетельствовать виденное или слышанное. Я сам наблюдал, как в связи с приостановкой выплаты, когда дело сводилось к установлению правильности ведения книг, в темницу было брошено трое несчастных, случайно оказавшихся у человека, который приостановил выплату в момент, когда к нему явился кредитор. Всё остальное ещё лучше...»

Он потрясен безобразной картиной изувеченной социальными неурядицами действительности, которая так широко и объемно вдруг раскрывается перед ним. Он чувствует себя одиноким перед той могучей стеной, которая воздвигается у него на пути, не только в Испании, которую он наконец покидает, но и во Франции, в которую он возвращается. Он теперь достаточно опытен, чтобы понять, сколько преград перед ним, но он полон решимости бороться и побеждать. Встревоженный, но не подавленный, видимо, не слишком спеша, в марте 1765 года он прибывает в Париж, в свои пустые апартаменты на улице принца Конде, 26, где с искренним нетерпением его поджидает только Жюли, самая близкая, самая любимая из сестер.

## Глава девятая Прекрасная Франция

Предчувствия его не обманывают. Его возвращение довольно печально. Нет, не потому, что его испанские предприятия мало ему удались. Он все-таки кое-что сделал. Ещё долго он будет следить за своими испанскими начинаниями, что-то советовать, чем-то руководить. Его отношения с Шуазелем и Пари дю Верне, устроившими эту поездку в Мадрид, не только не ухудшаются, но становятся прочными, а Пари дю Верне, в знак окончательного признания его коммерческой и политической хватки, предоставляет неограниченный кредит его новым деловым предприятиям.

Дела, сколько бы он ими ни занимался, не дают ему ощущения прочности и понемногу отступают на второй план. Да, он довольно богат, может быть, очень богат, установить точные размеры его достояния возможности нет, а всё же богатство не делает его независимым. Даже напротив, чем больше он богатеет, тем острее ощущается им, что он оплетен по рукам и ногам, поскольку никакой закон не защищает его, разбогатевшего сына часовщика, и какая бы беда на него ни свалилась, защиты придется искать у тех же безвольных, бесстыдных, бесчестных сиятельных грандов, только грандов французских, как две капли воды похожих на тех, на которых он вдоволь наглядился в Испании. Он чувствует себя без опоры и пытается эту опору найти.

И первая мысль этого будто бы до мозга костей развратного человека о браке. Он обращается к креолке Полин де Бретон, теперь бесприданнице, потерявшей все надежды на возвращение миллионов, неудачно вложенных в плантации родных островов. Он напоминает девушке их взаимные обещания. Он готов жениться на ней. Он пишет взволнованное, растерянное письмо:

«Если Вы не возвращаете мне свободу, только напишите, что Вы прежняя Полин, ласковая и нежная на всю жизнь, что Вы считаете для себя счастьем принадлежать мне, – я тотчас порву со всем, что не Вы. Прошу Вас об одном – держать всё в секрете ровно три дня, но от всех без исключения; остальное я беру на себя. Если Вы согласны, сохраните это письмо и пришлите мне ответ на него. Если Ваше сердце занято другим и безвозвратно от меня отвернулось, будьте хотя бы признательны мне за порядочность моего поведения. Вручите подателю сего Вашу декларацию, возвращающую мне свободу. Тогда я сохраню в глубине сердца уверенность, что выполнил свой долг, и не буду корить себя. Прощайте. Остаюсь, до получения Вашего ответа, для Вас тем, кем Вам будет угодно меня считать...»

Именно, стократно прав молодой Альмавива, которого когда-нибудь возвратившийся из долгого странствия путешественник изобретет: «Все охотятся за счастьем. Мое счастье заключено в сердце Розины», то есть в данном случае ему представляется так, что его счастье заключается в сердце Полин де Бретон.

Однако длительная разлука длительна для любви, в особенности тогда, когда отношения между влюбленными неопределенны и зыбки. Сердце Полин де Бретон давно уж остыло к нему и снова пылает, может быть, не так страстно и глубоко, но всё же пылает страстью к другому. Отныне ей нравится шевалье де Сегиран, тоже креол, как и она, прежде пылко влюбленный в насмешливую Жюли и, возможно, самой же Жюли подsunутый расчетливой, по натуре холодной и мелкой Полин, жаждущей властвовать над мужчинами, всегда и всюду владеть ситуацией, непременно играть только первую роль, пусть на этот случай мужчина окажется мелок и пошл.

На его запрос Полин де Бретон отвечает бестрепетно и банально, благодарит за любезность его возобновленного предложения, желает отыскать ту, которая составит счастье его, и даже берет на себя бессердечную смелость уверить, что известие о его свадьбе доставит ей гро-

мадное удовольствие, может быть, этим несвоевременным уверением желая поглубже его уколоть. И подписывает свою декларацию официально, чуть не презрительно, только фамилией: «Де Бретон».

Он стискивает свое трепетное сердце в кулак. Он по-прежнему, как ни в чем не бывало, развлекает никчемных принцесс, исполняет необременительную должность королевского секретаря, потихоньку продав свою первую придворную должность, хранителя королевских жарких, стоит на страже закона, преследуя попавшихся браконьеров, потихоньку истребляющих дичь короля, почти ежедневно посещает Пари дю Верне, которого полушутливо, полулюбовно зовет «моя крошка» и который уже не может обойтись без него.

От Пари дю Верне так и веет пряным духом коммерции и тайнами закулисной политики, так что его предприятия следуют одно за другим, непрерывно обогащая его, но не улучшая его настроения. В том числе он приобретает у турецкого архиепископа, легкомысленно запутавшегося в долгах, девятьсот шестьдесят гектаров прекрасного Шинонского леса, не знаю, припомнив ли по этому случаю, что в окрестностях этого тихого городка когда-то рос и мужал мальчишка Рабле. Первый взнос в эту громадную сделку составляет пятьдесят тысяч экю, и он без затруднений выплачивает эту сумму наличными, возможно, прибегнув к кредиту, предложенному Пари дю Верне.

Правда, в последний момент выясняется, что королевский указ, видимо, нацеленный на истребление злоупотреблений со стороны должностных лиц, воспрещает чиновникам егермейстерства участвовать в торгах на леса, точно уплата наличными таких сумм может считаться злоупотреблением должностного лица. Дурацкий, бестолковый указ, эту истину понимает и самый набитый дурак, и по этой причине всякий желающий преспокойно обходит запрет, наложенный королем, приплачивая другим чиновникам короля, которым поручено исполнять королевский указ, тем самым усердно умножая именно то, что король самонадеянно жаждет одним росчерком пера искоренить на все времена.

Опять-таки Пьер Огюстен не становится в смешную позу отвлеченного моралиста. Он ничуть не стесняется и приобретает Шинонский лес на имя своего слуги Ле Сюера, чем и принуждает умолкнуть бесталанный королевский указ.

Ле Сюеру не идет на пользу такая доверительность со стороны доброго, несколько не привередливого хозяина. Внезапно ощутив, какую власть приобретает над ним, Ле Сюер, уповая на полную безнаказанность, принимается не совсем честно обращаться с вещами и ценностями, которые плохо лежат на улице принца Конде, 26. Наивный слуга не учитывает того, что у его хозяина острый глаз и не по времени суровейшее представление о добродетели. Ле Сюер, однажды схваченный за руку, в этом доме не может рассчитывать на пощаду. Пьер Огюстен тотчас изгоняет его, не желая принимать во внимание, что Шинонский-то лес по бумагам составляет законную собственность подлеца.

Подлец, разумеется, незамедлительно использует эту ошибку. Ле Сюер завладевает Шинонским лесом и на законном основании принимается хозяйничать в нем, да так рьяно, что во все стороны щепки летят, ставя ни во что слово чести, данное им во время заключения сделки, при этом не совсем ясно, шантажирует ли он фактического владельца, требуя выкуп, или просто-напросто принимается сводить и распродавать в свою пользу чужое добро.

Любопытно, что Пьер Огюстен, знающий цену интриге, когда приходится ворочать делами государственной важности, в своем личном деле идет напрямик. Он встречается со своим непосредственным начальником герцогом де Лавальером и выкладывает ему всю историю с покупкой Шинонского леса, преувеличив, может быть, только сумму убытков, которые причиняются ему подлецом. Герцог несколько не удивлен, что его помощник пускается в неблагоприятные махинации, пресекаемые королевским указом, настолько это нынче дело обычное, и такие ли махинации плетутся вокруг, ему ли об этом не знать. Нет, генеральный егермейстер, пэр и великий сокольничий Франции тотчас диктует письмо, адресованное канцлеру,

и с не совсем подходящим к случаю негодованием требует незамедлительно и строжайшим образом наказать негодея, хотя, по правде сказать, наказания следовало бы требовать также и для одного из судей вверенного ему егермейстерства.

Ну, канцлер и граф, тоже нисколько не посердившись на государственного чиновника, с такой беззастенчивостью нарушившего указ короля, поскольку отлично знает и он, что в таких случаях так и принято поступать, выдает ордер на арест негодея, негодей в тот же миг приходит в себя и выпускает добычу из загребистых, но недостаточно натренированных рук, и законно отчужденная собственность благополучно возвращается к приобретшему её незаконно владельцу. В хорошенькие времена приходится жить, ваша светлость! А как ни воротить с души, где другие-то взять времена?

Пьер Огюстен сломя голову скачет в Турень, чтобы привести в порядок лихо запутанные Ле Сюером дела, и внезапно попадает в идиллию, в какой отроду ещё не бывал:

«Я живу в своей конторе, на прекрасной крестьянской ферме, между птичьим двором и огородом, вокруг живая изгородь, в моей комнате стены выбелены, а из мебели – только скверная кровать, в которой я сплю сном младенца, четыре соломенных стула, дубовый стол, огромный очаг без столешницы и всякой отделки; зато, когда я пишу тебе это письмо, передо мной за окном открываются все охотничьи уголья, луга по склонам холма, на котором я живу, и множество крепких и смуглых поселян, занятых косьбой и погрузкой сена на фуры, запряженные волами; женщины и девушки с граблями на плече или в руках работают, оглашая воздух пронзительными песнями, долетающими до моего стола; сквозь деревья, вдали, я вижу извилистое русло Эндры и старый замок с башнями по бокам, который принадлежит моей соседке мадам де Ронсе. Всё это увенчано вершинами, поросшими, сколько хватает глаз, лесом, он простирается до самого гребня горной гряды, окружающей нас со всех сторон, образуя на горизонте исполинскую круглую раму. Эта картина не лишена прелести. Добрый грубый хлеб, более чем скромная пища, отвратительное вино – вот из чего складываются мои трапезы...»

Здесь, в живописной долине извилистой Эндры, среди невысоких гор и великолепных лесов, предоставляется исключительная возможность осуществить всё то, что не удалось в испанской Сьераа-Морене, и он с энтузиазмом берется за дело. Он изучает климат, исследует почвы, источники, произрастающие растения, плоды земли, плоды ремесла, движение товаров по торговым путям, доходы и убытки своих новых, неожиданных земляков. Он с увлечением, как постоянно делает решительно всё, что попадает ему на пути, принимается познавать, и перед ним открывается его прекрасная Франция, как недавно открылась во всей своей наготе не менее прекрасная, но чужая Испания.

Начать с того, что эти крепкие смуглые поселяне, эти женщины и девушки с граблями на плече или в руках не владеют ничем, кроме этих собственных рук и граблей. У них ничтожно мало земли, приблизительно в пределах гектара, редко два или три, причем дело устроено так, что этот и без того скудный гектар отдельными лоскутками рассредоточен по многим местам, нередко до пятидесяти лоскутков самых малых размеров, иногда до семидесяти пяти, так что больше времени уходит на переходы и переезды от лоскутка к лоскутку, чем на обработку полей, на уход за растениями и на своевременный сбор урожая. Несчастный, стесненный со всех сторон земледелец с одного раздробленного гектара обязан отдать одну десятую часть урожая на церковь, четвертую часть, а также некоторую сумму деньгами сеньору, владельцу земли, поскольку всюду во Франции царствует несокрушимый закон, гласящий о том, что нет земли без сеньора, затем в пользу того же сеньора надлежит исполнить множество мелких повинностей на основании давно обветшавшего феодального права, затем любвеобильный король взимает налог, однако не своими руками, но продавши его на откуп откупщикам, которые норовят содрать с беззащитного пахаря вдвое, затем необходимо купить столько соли по немилосердно завышенным ценам, сколько невозможно употребить, и опять-таки право продажи соли получают на откуп откупщики, которые и на этой и без того греховной торговле весьма и весьма не

забывают себя. Понятное дело, можно быть чудом, богатырем трудолюбия, но с одного гектара с семьей прокормиться нельзя и без этих бесстыдных поборов, а с поборами приходится голодать, а попусти Господь неурожай за грехи, так и вовсе хоть в землю ложись. Можно, конечно, у сеньора ещё земли принанять, однако за эту землю особый расчет, за эту землю придется половину урожая отдать. Большею частью лугов и лесов владеет тоже сеньор, и тут половину сена отдай, а в лесу сухой хворост запрещается брать под страхом суда, который тоже правит сеньор. Таким образом, после многих и неустанных трудов крепкие и смуглые поселяне живут в нищете. Само собой разумеется, эпидемии случаются страшные, и сеньоры недаром эпидемии именуют народной болезнью, оттого, что в эти несчастные годы неистово мрет и ложится в землю один только бедный народ.

Гражданских прав у этих крепких и смуглых поселян не имеется никаких. Где-то вверху далеко-далеко невидимый с этого плотно обложенного податями гектара крестьянской земли сияет король, который может принять, а может и отменить какой угодно закон, не справляясь с мнением не только крепкого и смуглого поселянина, но и сеньора, хлопоча исключительно об одном: о наполнении своей всечасно опустошаемой и всечасно опустошенной казны. Во главе каждой провинции поставлен королем интендант, которому король, дабы не обременять себя никакими трудами, поручает бесконтрольное исполнение королевских указов, и поставленные им интенданты устремляются королевские указы так исполнять, что образованные французы дают им нелестное прозвание персидских сатрапов, а неученые попросту зовут сволочами.

Впрочем, ни король, ни интендант не касаются земледельца. Земледелец весь во власти сеньора, который владеет землей. Сеньор и награждает, и судит его, причем в королевских законах такая неразбериха царит, что сеньор обыкновенно выносит решение в соответствии со своим настроением, то есть именно так, чтобы ни в коем случае не обидеть себя. Причем, при должном усердии, к тому же если немного учился или себе в управители приобрел отменную шельму, в анналах истории может открыть что-нибудь из ряда вон выходящее, к примеру, оригинальный закон, дающий полное право сеньору, воротившись с тяжелой охоты, убить не более двух поселян, чтобы теплой кровью омыть свои утружденные ноги, или, опять же к примеру, древнейший закон, отдающий сеньору любую невесту на первую ночь. Конечно, такого рода законами давно уже не пользуется никто, век просвещения, Вольтер, чего доброго, засмеет на весь свет, а всё же никогда нельзя угадать, чего сеньору на ум иной раз взбредет, да ещё, к примру, под пьяную руку. Парламенты, как в прекрасной Франции зовутся суды, пытаются кое-какие из этих обветшалых диких законов формально, то есть законодательно отменить. Однако разве пресветлый король позволит посягать на свое священное право одному собственной волей распоряжаться законами? Никогда не позволит такого кощунства даже самый пресветлый король, не только французский, но и всякий другой, и Людовик XV является в парижский парламент, что делает только в самых экстренных случаях, и произносит с предупреждающим любыми недоумения апломбом:

– В своем дерзком безумии парламенты выдают себя за орган нации. В нации хотят видеть какое-то самостоятельное, особое от монарха начало, тогда как интересы и права нации – вот здесь, в моем кулаке.

И демонстрирует судьям свой пухлый, бессильный, а все-таки смертоносный кулак. Причем и парламент-то дрянь, недаром Дидро честит его на все корки за нетерпимость, ханжество и вандализм, каковы мило свойства Пьеру Огюстену очень скоро в полной мере испытать на себе.

Нет ничего удивительного, что Пьер Огюстен, наглядевшись на выразительные эти картины, пронзительным взором проникнув в глубины, на которых зиждется прекрасная Франция, как дерево на корнях, принимается размышлять. Именно с этого времени его начинают пленять серьезные драмы всё того же Дидро, вроде «Отца семейства» и «Побочного сына», писанные из принципа прозой, в отличие от высокой трагедии, которую так обожает несколько

старомодный Вольтер, с простыми героями из бесправных сословий, с чувствительными сюжетами, введенными в обиход английским писателем Ричардсоном, в которых поруганная справедливость, невинная добродетель всегда торжествуют над злонравным самоуправством и бесстыдным пороком, торжествуют хотя бы морально.

Вполне понятно, что с особым усердием, с вниманием пристальным он берется и за трактаты философов, которые во множестве выпускает ненасытный печатный станок. Правда, в прекрасной Франции не за одно только издание, но и за чтение кое-каких особенно острых трактатов можно значительно пострадать, поскольку пресветлый король не намерен поощрять вольномыслия, угрожающего ему, однако многие трактаты на свет божий являются в республиканской Голландии, где в этих случаях имени крамольного автора вовсе не принято упоминать, так что многие из самых острых трактатов с большим успехом продаются из-под полы и с большим интересом прочитываются за опущенными плотными шторами и за дверьми, предварительно замкнутыми на железный засов.

Берется он за это чрезвычайно полезное дело в самое время, поскольку для него наступает пора осмыслить яркие свои наблюдения, фундамент которых был заложен сперва при пышном дворе французского короля, а затем при ещё более пышном и ещё более продажном и вороватом испанском дворе. С другой стороны, вся прекрасная Франция, вся Европа зачитываются творениями французских философов и публицистов, у каждого образованного европейца на языке французские идеи, французские афоризмы, французский способ выражения собственных мыслей, даже нередко французский стиль, не говоря уж о том, что многие образованные европейцы предпочитают изъясняться изустно и в переписке исключительно по-французски, а в среде аристократической молодежи прямо вспыхивает веселая мода «вкушать и выгоды патрициата, и прелести плебейской философии», то есть с приятностью болтать об опасных перспективах и дерзких прогнозах о торжестве демократии, по наивности полагая, что и прогнозы и перспективы так и останутся пустой болтовней, а они, как и прежде, будут жировать да жировать на трехжильном крестьянском хребте.

Если с определенным вниманием взглянуть в прославленные сочинения моего ныне пребывающего на лоне природы героя, то трудно не согласиться, что в обязательный круг его серьезного чтения вошел замечательный философ Шарль Луи Монтескьё, скончавшийся перед тем лет за десять и с каждым годом приобретающий всё новую и новую славу, пока его поразительная идея о непременном и четком разделении исполнительной, законодательной и судебной властей не превращается в краеугольный камень требований и вожеланий неудержимо нарастающей оппозиции бесправных сословий.

Дело в том, что Шарль Луи Монтескьё первым задумывается о самой сущности, о самом духе законов, как он очень удачно выразил свою кардинальную мысль. Благодаря такому подходу к важнейшей проблеме государственного устройства он отбрасывает бытующие суждения разного рода о роли случайности или счастья в деле законодательства. Напротив, Шарль Луи говорит: «Не счастье управляет миром. Существуют общие причины, нравственные и физические, которые действуют в каждом государстве, то поддерживая, то разрушая его. Все события истории находятся в зависимости от этих причин, и если какое-нибудь частное событие приводит государство к гибели, то это значит, что за ним, за этим частным поводом, скрывалась более общая причина, вследствие которой государство должно было погибнуть». И в другом месте настойчиво повторяет: «Основной ход истории влечет за собой все частные случаи».

Вообще, в основание духа законов, которые существовали в прошедшем, существуют в настоящем и будут устроены в будущем, Шарль Луи кладет быт и нравы народов, с которыми имеет дело законодатель. Он утверждает:

«Вообще законы должны настолько соответствовать характеру народа, для которого они созданы, что следует считать величайшей случайностью, если законы одной нации могут оказаться пригодными для другой».

Что означает, конечно, что никакие законы не в состоянии изменить быт и нравы народов, тогда как всякое изменение в быте и нраве народов неизбежно ведут к перемене законов, и что не может быть выработано никакого идеального, умозрительного законодательства, равно пригодного для всех времен и народов, что тот, кто верит в возможность такого рода законодательства, не кто иной, как законченный утопист, то есть дурак.

Впрочем, именно этих основополагающих суждений проницательного философа в его смятенном и взбудораженном веке почти никто не заметил. Без исключения все образованные европейцы набрасываются на единственный раздел его историко-политического трактата, на раздел, трактующий о достаточных условиях для торжества политической свободы, достижение которой представляется важнейшей, чуть не единственной задачей для всех тех, кто видит в единовластии исключительный тормоз подспудно напорающего прогресса.

Чем Шарль Луи Монтескьё в особенности поражает умы своих современников? Прежде всего разъяснением, что есть политическая свобода сама по себе. Он тут заявляет, что политическая свобода вовсе не означает того плачевного состояния, когда каждый освободившийся гражданин вытворяет всё, что захочет, что в каждый данный момент внезапно взбредет в его пустую башку, напротив, политическая свобода состоит в том, чтобы делать лишь то, что позволяют делать законы. Для исполнения этой приятной возможности делать лишь то, что позволяют делать законы, необходимо такое государственное устройство, при котором никто бы не оказывался вынужденным делать то, чего не позволяют делать законы, и никто не встречал бы препятствий делать то, что законы делать ему разрешают или велят.

Понятно, что для создания столь замечательной ситуации в жизнь нации должны быть введены начала законности. А как вести в жизнь нации эти начала законности? В сущности говоря, ввести начала законности в жизнь нации очень просто. Для этого необходимо непременно развести в разные стороны, разделить три вида властей, которые существуют в любом государстве: власть законодательную, власть исполнительную и власть судебную. Когда же в одном учреждении или в одном лице, как это впоследствии мой герой представит в одном из своих персонажей, власть законодательная соединяется с властью исполнительной и судебной, там свободы не существует и никогда не может существовать, потому законодатель издаст тиранический, выгодный исключительно для него одного закон, а затем станет тиранически этот закон исполнять, опять-таки исключительно с выгодой для себя одного, нисколько не заботясь об интересах и выгодах нации, и, само собой разумеется, станет судить за неисполнение тиранического закона по своему произволу, опять-таки помышляя о соблюдении исключительно собственных интересов и выгод.

По этим причинам, рассуждает далее Шарль Луи Монтескьё, судебная власть может принадлежать только лицам, избираемым из недр нации на определенное время, законодательная власть может принадлежать только нации, поскольку каждый свободный гражданин должен управлять собой сам, тогда как исполнительная власть всегда должна сосредоточиваться в руках одного лица, всего лучше в руках наследственного монарха, поскольку исполнение законов всегда требует решительного и быстрого действия.

В заключение нужно прибавить, что близкой к идеалу Шарль Луи Монтескьё находит тогдашнюю английскую конституцию, то есть конституцию той страны, которую воинственный французский король считает своим главнейшим, важнейшим и чуть ли не смертельным врагом, и что особенно в данном случае замечательно, со своим королем на этот счет соглашаются все без исключения французские торговцы, предприниматели и финансисты.

Эти идеи о духе законов и разделении властей глубоко проникают в сознание и для Пьера Огюстена становятся руководящими. Однако, к счастью, сам Пьер Огюстен не склонен к непрерывному философствованию. Человек энергичный и дерзкий, он предпочитает идеи воплощать в реальное, зримое дело. Вот почему, не дожидаясь общих решений о правильном устройстве благоденствующего гражданского общества, путем разведения в разные стороны

законодательной, исполнительной и судебной властей, он осеняется мыслью преобразовать быт и нравы целого края, власть над которым на основании приобретения в частную собственность Шинонского леса достается ему.

Правильно понимает находчивый Пьер Огюстен, что фундамент всякого процветания таится в беспрепятственном и скором движении товаров и денег, то есть в торговле прежде всего, которая, в свою очередь, приводит в движение хлебопашество, ремесла, а затем и большие мануфактуры, на которых разумное разделение производственных операций между работниками приводит к десятикратному и даже к стократному росту производства товаров. С тем, чтобы значительно двинуть товары и деньги, он опять-таки берется за главное, без чего никуда двинуться не способна ни одна телега и баржа. Он начинает с путей сообщения, прокладывает удобные и прямые дороги, в иных местах спрямляет русло прихотливо-извилистой Эндры, в других сооружаются шлюзы, чтобы река в любое время года была судоходной. Он закупает фуры и речные суда. Мало того, с фур и судов он налаживает регулярную доставку грузов в тур, Нант, Сомюр и Анжер. Вот как действует человек, наделенный энергией, одушевленный разумной идеей!

Приятно отметить, что он решительно изменяется и в роли судьи. В действительности никакого разделения властей в прекрасной Франции, конечно, не существует, что и приведет неповоротливое Французское королевство к скорой и неминуемой гибели, однако ему некогда ждать, когда это болезненное, однако приятное событие совершится и осчастливит пока что бесправных, подневольных французов. Он принимается вести судебные дела так, будто он вполне независим от исполнительной и законодательной власти, то есть от французского короля, и руководствуется только законом, независимо от того, какая персона обвиняется в браконьерстве. В течение нескольких месяцев он выносит один за другим приговоры, которые защищают крестьян, проживающих на территории Луврского егермейстерства, от злоупотреблений со стороны лесных сторожей, назначенных королем. Глядя, как – всегда, широко, он не ограничивается одними справедливыми приговорами. Он принимается воспитывать в массе населения вверенных ему территорий правовое сознание, то есть прежде всего внушает им веру в достаточность и справедливость закона. С этой целью он обращается к местным священникам с настоятельной просьбой, чтобы духовные пастыри, ближе всех поставленные к простому народу, не уставали убеждать поселян, что тот же суд, который выносит им обвинительный приговор, когда они нарушают закон, обеспечивает им гарантии против мести со стороны лесных сторожей и наказывает самих лесных сторожей, уличенных в злоупотреблении властью. Больше того, он сам отправляется по приходам и устраивает публичные заседания, чтобы любой и каждый мог убедиться, что судья Луврского егермейстерства Пьер Огюстен Карон де Бомарше в своих решениях руководствуется только законом и что закон одинаков для всех.

Нужно особенно подчеркнуть, что он не только думает так, подобно большинству честных людей, но и придерживается этого сурового принципа в практической жизни, чего большинство честных людей не исполняет из подлого страха иметь вагон неприятностей, причем в применении закона его не останавливают и самые звучные имена. Так, его высочество Луи Франсуа де Бурбон принц де Конти повелевает снести ограду какого-то нищего земледельца, которая, вы только представьте себе, имеет наглость мешать его сиятельным развлечениям, то есть препятствует очередным безобразиям, на что принцы, как известно, весьма горазды во все времена. Жалоба нищего земледельца, которому, как видите, в храбрости и чувстве собственного достоинства никак не откажешь, приносится в суд егермейстерства. Приближается день разбирательства, которое, как предполагается, может повестись беспристрастно, и тут разного ходатаи, якобы из самых возвышенных чувств, чуть не из заоблачной дружбы, а также, разумеется, из самой пылкой любви предостерегают судью от поспешных решений, как в таких случаях принято изъясняться на фигуральном языке прохвостов и жуликов, посев-

ших в безобразиях и воровстве, намекая на то очевидное обстоятельство, что гнев принца стоит гораздо дороже забора. Справедливо предполагая, что намеки делаются по предписанию принца, придя от этого в праведный гнев, Пьер Огюстен бросается к принцу Конти и самым непочтительным тоном разъясняет титулованному болвану, что закон одинаков для всех и что принц будет наказан в полном соответствии со своим преступлением, без алейшей поблажки, ваша светлость, иначе нельзя. По счастью, именно данный принц не был окончательно глуп и находился в довольно приятном расположении духа, что может приключиться и с принцем. По этой причине Луи Франсуа де бурбон принц де Конти вскочил со своего золоченого кресла и заключил добродетельного судью в свои высоческие объятия. Нельзя не прибавить, что с этого дня принц де Конти относится к Пьеру Огюстену по-дружески и при случае вызволяет его из беды, за что данному принцу почет и большое спасибо.

Исходя из этого, нетрудно понять, в какое бешенство приходит Пьер Огюстен, когда беда разражается над его собственным камердинером, пришедшим на смену жулику Ле Сюеру. Грязная история разыгрывается из-за того, что нанятый на службу Амбруаз Люка является негром. То ли какому-то прохвосту не нравится, что Пьера Огюстена обслуживает цветной, то ли кем-то овладевает сладостное желание насолить, то ли негр действительно беглый, только некий Шайон подает в суд и суд выносит решение, согласно которому Пьер Огюстен обязывается возвратить своего чернокожего камердинера его истинному владельцу, а владелец свою возвращенную собственность без промедления заточает в тюрьму. В негодовании Пьер Огюстен строчит громадное письмо директору департамента колоний и обрушивает на его лысую голову весь свой праведный гнев:

«Бедный малый по имени Амбруаз Люка, всё преступление которого в том, что он чуть смуглее большинства свободных жителей Андалусии, что у него черные волосы, от природы курчавые, большие темные глаза и великолепные зубы – качества вполне извинительные – посажен в тюрьму по требованию человека, чуть более светлогокожего, чем он, которого зовут мсье Шайон и права собственности которого на смуглого ничуть не более законны, чем были права на юного Иосифа у израильских купцов, уплативших за него тем, кто не имел ни малейшего права его продавать. Наша вера, однако, зиждется на высоких принципах, которые замечательно согласуются с нашей колониальной политикой. Все люди, будь они брюнеты, блондины или шатены, – братья во Христе. В Париже, Лондоне, Мадриде никого не запрягают, но на Антильских островах и на всем Западе всякому, кто имеет честь быть белым, дозволено запрягать своего темнокожего брата в плуг, чтобы научить его христианской вере, и всё это к вящей славе Божией. Если всё прекрасно в этом мире, то, как мне кажется, только для белого, который понукает черного бичом...»

Разумеется, этому сукину сыну Шайону можно предложить хорошие деньги, и Пьеру Огюстену денег не жалко, однако волнует его в этой истории правосудие, справедливость, нравственная обязанность христианина по отношению к своему безвинно пострадавшему чернокожему брату, и он обращается с не менее пылкими, довольно риторичными и сумбурными проповедями к своему начальнику герцогу де Лавальеру, к Шуазелю, ко всё ещё не забытым принцессам, пока не добивается своего и тем, может быть, искупает свое предложение испанским властям торговать в колониях такими же чернокожими братьями, которого он защитил.

Таким образом, выясняется, что у братьев меньших в прекрасной Франции появляется ещё один страстный защитник, готовый за него постоять, рискуя своим положением, а в ряде случаев и головой.

## Глава десятая

### Провальный дебют

А все-таки недаром этот искренний, глубоко настоявшийся пафос в личном письме, обращенном к директору департамента по поводу судьбы одного частного человека. В этом пафосе слышится черная меланхолия, беспокойно-томительная тоска, которая давно клубится в душе. В сущности, ему противно до мозга костей жить в этом легкомысленном, беспечном, развращенном до последних пределов обществе принцев, герцогов, маркизов и простых шевалье, которые не понимают, не способны и не хотят понимать, что развратничают и веселятся они на вулкане, что бестолковые головы многих из них четверть века спустя пожрет ненасытный механизм гильотины. Он чужой в этом обществе, лишенном нравственности, лишенном благородства души, позабывшем Христа, не отягченном никакими духовными интересами, если не принимать всерьез бесплодной, пустой болтовни о последнем остроумном памфлете или модном трактате философа, как-никак получившего европейское имя. Временами он так одинок, что хоть криком кричи. Сам частица вулкана, который низвергнет в пропасть это прогнившее общество, он не чувствует почвы у себя под ногами. Он всё ещё, несмотря на большие успехи в коммерческих предприятиях, мученически, страдальчески не уверен в себе.

Может быть, потому, что так долго не слышит едва зародившийся, пока что до крайности робкий голос призвания.

В самом деле, его дарование, впоследствии сделавшее его заемное имя бессмертным, пробуждается и созревает медлительно, неторопливо, каким-то неторопливым черепашиным шажком, точно вслепую. Отчасти оттого, что этому по природе своей могучему дарованию приходится продирается, сквозь лихорадку и толщу его бесчисленных коммерческих дел. Отчасти и оттого, что наша вечная заступница жизнь ещё не припекла его хорошенько каленым железом, не припекла так, чтобы он взвыл от боли и заорал благим матом от безысходности, от бессилия перед ней, от терпкой горечи своих поражений. Только таким неизлечимо-болезненным способом и набирает свою непобедимую силу всякий действительно достойный талант, а того, кто не испытал такого рода испепеляющих потрясений, за углом поджидает безвестность, в лучшем случае временный, мимолетный, бесславно-преходящий успех.

Другими словами, его могучее дарование созревает естественно, как можно мало у кого наблюдать. Никакие внешние силы не торопят его, не соблазняют никакие посторонние цели, вроде жестокой необходимости во что бы то ни стало заработать на хлеб или жажда огненной прижизненной славы. В кругу его близких не водится нашумевших поэтов и драматургов. Его кошелек достаточно полон, чтобы утруждать себя ради тех жалких крох, какие достаются бедному автору даже тогда, когда его вещи имеют несомненный успех, и бедный Дидро так мало зарабатывает на своем знаменитом «Энциклопедическом словаре», что оказывается принужденным продать свою бесценную библиотеку, главнейший фундамент его литературных и философских трудов, российской императрице Екатерине I I. Нет, слава Богу, Пьер Огюстен избавлен от этих посторонних искусству забот.

Единственно внутренняя потребность понуждает его наконец потянуться к перу. Однако эта внутренняя потребность пока что довольно слаба. Одиночество. Томящая зыбкость его положения. Неустроенность человека, мечтающего о нормальной, глубоко одухотворенной, крепкой семье. Неисполненная мечта о потомстве. Недаром же из души его однажды вырывается точно само собой:

«Становитесь отцами – это необходимо, таков случайный закон природы, благотворность которого проверена опытом; тогда как к старости все иные связи постепенно ослабевают, одни лишь связи отцовства упрочиваются и крепнут. Становитесь отцами – это необходимо. Эту бесценную и великую истину никогда нелишне повторять людям...»

Недаром он так хлопочет об устройстве ближних своих. Его усилиями наконец обретает семью Шарль Андре, его престарелый отец, все-таки взявший в жены свою давнюю приятельницу мадам Анри. Его же усилиями выходит замуж сестра, мадам де Буагарнье. А ему самому уже тридцать три года, тридцать четыре. Он давно вдов и всё ещё не женат.

Видимо, тоска по супружеству, тоска по отцовству, по крепкой семье поощряет его. В течение нескольких лет, втихомолку, укромно, он трудится над драматическим сочинением, то оставляет его, то возвращается вновь, то испещряет множеством самых разнообразных поправок, то заново переписывает весь текст целиком, верное показание, до какой степени он всё ещё мало уверен в себе.

К тому же с самого начала он совершает ошибку, вызванную как раз неуверенностью, робостью ещё не созревшего дарования. Человек, прославивший свое смертное имя, может быть, самой заразной, самой задорной веселостью, какую когда-либо имела всемирная сцена, поначалу берется скорее за проповедь нравственности, чем за искусство, которое отторгает от себя сухих моралистов, и в качестве моралиста не шутя вооружается именно против веселости, чего-то ради убеждая себя и других:

«Хотя смешное и тешит ум на мгновение веселым зрелищем, мы знаем по опыту, что смех, вызываемый остротой, умирает вместе со своей жертвой, никогда не отражаясь в нашем сердце...»

Конечно, он заблуждается добросовестно. К тому же очарование, произведенное английским писателем Ричардсоном, всё ещё не прошло, и уже едва ли может пройти. Ещё и проклятая робость не успевшего в суе коммерческих сделок созреть дарования побуждает искать образцов, тогда как ему полагается с полным вниманием слушать только себя самого, как это делает истинно созревший талант, идущий всегда напролом, как раздробляющий крепостные стены таран, оттого истинный талант и топчет ногами любые авторитеты и бесстрашно устремляется по собственному пути.

По-прежнему образом ему служат романы английского писателя Ричардсона и мещанская драма, которую ещё именуют слезливой комедией, введенная в моду довольно далеким от сцены, наделенным разносторонним талантом Дидро. Одинокому сердцу, отвернувшемуся с отвращением от бесстыдного общества, так хочется чистых, чувствительных сцен! Ему близки слезы невинных жертв чужого расчета или бесчувственной подлости, как близка идея возмездия за порок и конечного торжества справедливости. Ему хочется наказать безнравственность хотя бы на сцене, ему хочется наказать беспутство хотя бы в мечте.

К этой внутренней, непобедимой потребности приплетаются и другие причины. Прежде всего он не испытывает восторга от заполонившей все сцены трагедии классицизма, в которой выступают помпезные герои античности, к тому же облаченные а камзолы и парики восемнадцатого столетия, что не только идет им, как корове седло, но и делает их совершенно искусственными. Он ничего искусственного не в силах терпеть, в том числе не в силах терпеть александрийский размеренный стих, каким непременно должны изъясняться напыщенные герои трагедий. Он, может быть, потому не любит и не ценит его, что не прошел в свое время через обычную французскую школу, основанную на латинизме и на этом самом александрийском стихе, когда-то новаторском, а теперь устарелом. Это неприятие для него настолько принципиально, что оно ляжет в основу его «Опыта о серьезном драматическом жанре», который он приложит к изданию первого опыта своего драматического пера. Вот что он там изречет:

«Какое мне – мирному подданному монархического государства XV111 столетия – дело до революций в Афинах или в Риме? Могу ли я испытывать подлинный интерес к смерти пелопонесского тирана? Или к закланию юной принцессы в Авлиде? Во всем этом нет ничего нужного мне, никакой морали, которую я бы мог для себя извлечь. Ибо что такое мораль? Это извлечение пользы и приложение к собственной жизни тех раздумий, которые вызывает в нас событие. Что такое интерес? Это безотчетное чувство, с помощью которого мы приспособля-

ваем к себе это событие, чувство, ставящее нас на место того, кто страдает в создавшейся для него ситуации. Возьму наудачу пример из природы, чтобы прояснить свою мысль. Почему рассказ о землетрясении, поглотившем Лиму и её жителей за три тысячи лье от меня, меня трогает, тогда как рассказ об убийстве Карла I, совершенном в Лондоне по приговору суда, только меня возмущает? Да потому, что вулкан, извергавшийся в Перу, мог прорваться и в Париже, погребя меня под руинами, и эта угроза, возможно, для меня всё ещё существует, тогда как ничего подобного невероятному несчастью, постигнутому английского короля, мне опасаться не приходится...»

Без сомнения, он отдается безотчетному чувству. Он избирает содержанием драмы именно то, что тревожит его, то есть судьбу бесправного, судьбой угнетенного существа, которое может обидеть и обесчестить любой титулованный прохиндей, если такая блажь вступит в беспутную башку прохиндея. Однако он ещё не в состоянии придумать ничего истинно своего. Он берет расхожий, неоригинальный сюжет, который можно обнаружить у английского писателя Ричардсона или в побочном эпизоде «Хромого беса» французского писателя Лесажа. В самом деле, только взгляните на эту историю: молодой шалопай, племянник министра, соблазняет честную девушку из простого сословия, обманув её видимостью вступления в брак, затем бросает её, но, разумеется, с должным благоразумием раскаивается в финале, растроганный её благородством и недостижимой нравственной высотой. Нечего сказать, оригинальный сюжет!

В этом избитом сюжете одно только выдает будущего великого комедиографа: его склонность к простым ситуациям, в которых представители противоположных сословий участвуют и как представители этих сословий и в то же время как обыкновенные люди, которые действуют так, как свойственно действовать каждому человеку, независимо от времени, от эпохи, от сословий и классов, их разделяющих. Да, аристократ и простолюдинка, а в то же время мужчина и женщина, которые любят друг друга, как любят друг друга мужчины и женщины во все времена, тоскуют, страдают, готовые умереть от предательства и измен.

Под его пока что неумелым пером эта простая история приобретает живость и убедительность только там и тогда, где и когда он вкладывает свои свежие чувства, там и тогда, где и когда звучат отголоски запутанной испанской истории или его собственных, тоже запутанных, не совсем понятных отношений с креолкой Полин де Бретон. Прочие пространства своей первой драмы он заполняет скучными рассуждениями на общие темы и привычной для того времени декламацией, которой шеголяют герои трагедий, как ни пытается он откреститься от них.

Скверней всего то, что к этому невызревшему творению привязывается плоская и оттого особенно надоедливая цензура. Цензору Марену очень не нравится то, что действие драмы происходит в Бретани, в замке французского аристократа и что в эту малопочтенную историю замешивается, хотя очень косвенно, французский министр. Правдолюбивый цензор Марен, погрязший во лжи, что ещё несколько раз продемонстрирует нам при других обстоятельствах, утверждает, будто в прекрасной Франции, где сам король, а следом за королем многие графы и герцоги открыто живут со своими любовницами, имея законных жен, такого рода история просто-напросто не может произойти.

Понятно, что цензор Марен всего лишь болван, поскольку иных цензоров не бывает на свете, если это не Иван Александрович Гончаров или Федор Иванович Тютчев, и, по счастью, такого рода препятствия для Пьера Огюстена сущий пустяк. Он моментально меняет название. Не успевает верноподданный болван глазом моргнуть, как Бретань преобразуется в Лондон, а французский аристократ оказывается английским аристократом, то есть изворотливый автор прибегает к нехитрой уловке, весьма распространенной среди литераторов, будь они драматурги или прозаики, достигнутые непостижимой цензурой.

И что же, верноподданный цензор такого рода перестановкой доволен вполне, точно он полагает, что зрители, сидящие в зале, такие же дураки и ровным счетом ничего не поймут,

если место действия из прекрасной Англии перебросить на, без сомнения, неблагополучные Британские острова.

Все-таки эта хитрость слишком проста и не убеждает Пьера Огюстена в зрелости своего мастерства. По-прежнему неуверенный, страшась позора провала, кажется, даже больше, чем страшился провалиться в Испании, он читает многократно переработанную «Евгению» своим хорошим знакомым, ожидая полезных критических замечаний, поскольку разрушительные замечания цензора полезными не назовешь, читает даже в близких салонах, а кое-кому доверяет рукопись в руки для внимательного прочтения наедине.

Почему-то в особенности старается оказать ему посильную помощь герцог де Ниверне, занимающий должность министра, пэр Франции и к тому же член Академии, что, впрочем, мало характеризует герцога с положительной стороны, поскольку академики большей частью бесталанные люди, наделенные всего лишь редкой сноровкой зарекомендовать себя перед своими собратьями явной неспособностью их затмевать.

Герцог де Ниверне оказывается человеком по крайней мере внимательным и добросовестным и за неделю до первого представления пьесы на сцене Французской комедии вручает благодарному автору несколько листов своих замечаний. Трудно судить, насколько его замечания пронизательны и полезны, однако Пьер Огюстен хватается и за них и ещё раз вносит поправки в свое многотерпеливое детище, которые, как вскоре становится ясно, незначительно улучшают его.

Наконец с множеством раз переkreоенной и подштопанной пьесой он приходит в театр, Театр его пьесу благосклонно берет. Начинаются репетиции, причем необходимо отметить, что в те времена актеры, как даровитые, так и посредственные, не утруждают себя количеством репетиций, более полагаясь за зыбкое счастье импровизации по ходу спектакля, для чего необходим легкий, хорошо запоминаемый текст. На репетициях же делаются прикидки, выстраиваются мизансцены, определяются удобные выходы да слегка проходятся диалоги, чтобы к премьере быть хотя бы отчасти в курсе того, что надлежит делать и говорить. Не мудрено, что с такими приемами спектакль готовится к выходу в течение нескольких дней, мудрено то, что очень часто сделанные на живую нитку спектакли имеют громадный успех.

Также немудрено, что Пьер Огюстен, новичок в профессиональном театре, приходит в ужас от такого рода приемов, которые не могут не представлять ему легкомысленными и прямо убийственными для пьесы, начиненной полезной моралью. Сам театр тоже не производит на него благоприятного впечатления, Здание Французской комедии выстроено ещё при Мольере. Дух великого, может быть, в нем и витает, однако оно до крайности неудобно. В нем три яруса лож, из которых далеко не все открывается из того, что происходит на сцене. Зрителям партера приходится стоять весь спектакль на ногах, что не позволяет им сосредоточить внимание, так что в зрительном зале всегда стоит легкий гул, заглушающий голос и самого горластого из актеров, а ведь далеко не каждый горласт. Техника сцены давно устарела и тяжело хромает на обе ноги. В общем, одни и те же злые недуги поражают в прекрасной Франции не только монархию, но и театр.

Однако хуже всего, что ведущие актеры сообща владеют театром, каждый имея свой пай, тем не менее между владельцами не примечается никакого согласия. Владельцы то и дело мелко и скверно ссорятся между собой, и отношения между ними уже доходят до лютой ненависти и подлейших интриг, которые нередко из-за кулис вываливаются на сцену. К тому же матерые совладельцы явно стареют, не все роли по преклонному возрасту способны играть и приглашают в труппу актеров и актрис помоложе, но не в качестве совладельцев, а на грошовый оклад, что чувствительные сердца приглашенных поражает благородным чувством несправедливости и лютой зависти к своим старшим коллегам. Нечего прибавлять, что следом за этими чувствами в театре учиняется кавардак. Другими словами, Пьер Огюстен попадает в обыкновенный театр, актеры которого в таком тяжелом и нелепом разладе между собой, что, кажется,

не могут прилично выйти на сцену, не только прилично сыграть. Тем не менее, они выходят под огни рампы с божественным третьим звонком и недурно играют, если, разумеется, награждены дарованием, а порой играют божественно, когда случается настоящий талант.

Как всегда, Пьер Огюстен сперва поражен всей этой неразберихой и несмываемой грязью кулис. Затем он принимается действовать, со своей неумной энергией поспевая повсюду. Кому-то он просто-напросто сует деньги в карман, справедливо предполагая, что лишние деньги не повредят, для чего-то взбирается на колосники, спускается в оркестровую яму, возится с декорациями, сам ставит свет, придумывает мизансцены и выходы, то и дело бегают в кассу, организует рекламу, даже что-то усовершенствует в давно устаревших машинах, видимо, припомнив анкерный спуск. Таким образом неожиданно выясняется, что перед нами не только политик, мастер закулисных интриг, коммерсант и делец, но также истинно театральный, то есть неизлечимо больной человек.

К тому же для первого раза ему очень везет. Роль Евгении поручается мадам Долиньи, актрисе с талантом, тогда как Кларендона играет прославленный Превиль, в особенности имеющий бешеный успех в ролях соблазнитель, поскольку неотразимый соблазнитель и в жизни, несмотря на свои сорок шесть лет. Не могу сказать в точности почему, но Пьер Огюстен и Превиль становятся вскоре друзьями.

И все-таки первый блин оказывается действительно комом, уж это закон. Спектакль не то что бы с треском проваливается, что в иных случаях свидетельствует о чересчур большом и новаторском даровании автора, а как-то сходит на нет. Первые действия публика принимает прохладно. Во время последних партер охватывает подозрительное движение, которое лучше всего говорит, что зрители не совсем понимают, какое им дело до страданий обманутой и несчастной Евгении. Лишь немногие реплики вызывают здоровую реакцию зала, в особенности когда беременная Евгения, сопровождая текст довольно рискованным жестом, не без яду бросает: «Ладно, ты вправе взять свое, твое прощенье у меня под сердцем», и своим громким смехом зрители отдают должное смелости автора и неожиданной фривольности мадам Долиньи, страшная редкость в довольно чопорной Французской комедии, уже позабывшей соленые фарсы Мольера.

На другой день ему приходится испытать всю горечь первого поражения. Желчный Гримм, по природе злой человек, поскольку сильно обижен и талантом и ростом, разносит «Евгению» самым решительным образом, не оставляя от первенца автора камня на камне. Впрочем, он лишний раз доказывает своим неумным неистовством, что даже самая авторитетная критика способна лишь ошибаться в оценке таланта, пусть ещё не развившегося, поскольку в галиматье, которую бесстрашно несет напрасно прославленный Гримм, встречается поражающий своей нелепостью приговор:

«Этот человек никогда ничего не создаст, даже посредственного. Во всей пьесе мне понравилась только одна реплика: когда Евгения в пятом действии, очнувшись после долгого обморока, открывает глаза и видит у своих ног Кларендона, она восклицает, отпрянув: «Мне показалось, я его вижу!» Это сказано так точно и так отличается от всего остального, что, бьюсь об заклад, придумано не автором...»

Как с достаточным основанием докажет дальнейшее, самодовольный критик садится в лужу перед потомством, причем садится самым поразительным образом, вполне без штанов, точно стремясь доказать, что всё на свете имеет свою оборотную сторону. Оказывается, что Пьера Огюстена необходимо сильно ударить, глубоко оскорбить, чтобы пробудились его дремлющие духовные силы, а его талант засверкал во всей своей красоте. Обозленный, униженный, он в течение двух дней, остающихся до второго спектакля, сильно перерабатывает последние действия, должно быть, ясно обнаружив их недостатки, когда своими глазами увидел на сцене, как обыкновенно приключается с автором, отчего и самая прекрасная пьеса не может

не поправляться во время репетиций и даже после премьеры, только не режиссером, а именно автором.

Благодаря лихорадочным этим усилиям тридцать первого января пьеса проходит с успехом, что позволяет другому критику, влиятельному Фрерону, заметить, что «Евгения», сыгранная двадцать девятого в первый раз, была довольно плохо принята публикой, так что этот прием выглядел полнейшим провалом, но затем она прямо-таки воспряла благодаря поправкам и сокращениям, заняв публику и сделав честь прекрасным актерам. И в самом деле, «Евгению» дают семь раз подряд, что довольно близко к успеху.

И всё же, как водится, куда более продолжительный и громкий успех выпадает на долю «Евгении» не в родных стенах, а далеко за пределами родины. Пьесу широко переводят на европейские языки, может быть, её настроение, даже некоторая слезливость и декламация ближе сердцу иноземного зрителя, так что насильственное переселение персонажей на туманные Британские острова получает какой-то особенный, дополнительный смысл.

Некая миссис Грифитс переводит эту мещанскую драму на английский язык, вернее, перелагает её, ещё более приспособливая на причудливые английские нравы, изменяет даже название, и «Евгения» преобразуется в «Школу развратников». В таком виде роль Кларендона с ослепительным мастерством играет прославленный Гаррик, и благодаря ему «Школа развратников» надолго остается в репертуаре, тем более что английские зрители окончательно распознают в ней пленительные мотивы своего писателя Ричардсона.

Переводят «Евгению» и на немецкий язык, и, несколько позднее, она чрезвычайно понавится Гете.

Вскоре кто-то завозит «Евгению» и в Россию, и нельзя исключить, что это похвальное действие производит семейство Бутурлиных. На русский язык пьесу переводит Николай Пушкинов, и этот вполне правомерный поступок вызывает страшный гнев Сумарокова, скучные пьесы которого гремят на московском театре, а с появлением «Евгении» отодвигаются на второй план, затем вытесняются из репертуара совсем, что для автора, конечно, обидно. Переводчик же утверждает, что успех «Евгении» был просто невероятный и аплодисмент русских зрителей почти не смолкал. Будучи скромным, от природы или по хорошему воспитанию, Николай Пушкинов все заслуги справедливо отдает автору и актерам, Дмитревскому, Померанцеву и Ожогину, тогда лучшим актерам Москвы. Свое мнение излагает он так:

«Первый, по моему мнению, ничего не проронил, что делает драму совершенной, а последние, руководствуемые славным нашим актером, г. Дмитревским, в то время в Москве бывшим, изображая естественно то, что требовал сочинитель, сами себя превзошли. Пример сей показывает ясно, что вкус к зрелищам, вкус столь похвальный и полезный, час от часу больше у нас умножается. Дай Боже, чтобы оный совершенно утвердился к чести и пользе общества, к поправлению наших сердец и нравов...»

К сожалению, этот доброжелательный отзыв Пьер Огюстен никогда не читал. То же, что ему приходится читать в бойкой французской печати, слишком мало утешает и вдохновляет его.

Неожиданно утешение приходит совсем с другой стороны. По своим коммерческим предприятиям он входит в сношения с генеральным смотрителем провиантской части дворца Меню-Плезир, и вскоре, к моему, а может быть, и к его удивлению, начинает повторяться история его первого, такого короткого и несчастного брака. Мсье Левек в возрасте, как и мсье Франке, и тоже поражен какой-то серьезной болезнью. Его жена Женевьев Мадлен, приблизительно тридцати шести лет, слывет женщиной достойной и сдержанной, весьма уважаемой в обществе, точно так же, как и Мадлен Катрин Франке. Каким-то образом Пьер Огюстен попадает в круг её близких знакомых. Поэтому поводу рассказывается довольно запутанная история. В этой истории общая знакомая мадам Бюффо, супруга директора Оперы, специально назначает свидание на Елисейских полях, единственно ради того, чтобы познакомить вдовца

со своей хорошей подругой, причем для пушего блеска предлагает вдовцу явиться верхом на коне. Пьер Огюстен будто бы и в самом деле скачет верхом, и знакомство происходит в слишком уж подозрительном месте, в Аллее вдов. Нечего говорить, что верхом на коне он производит на Женевьев Мадлен неотразимое впечатление, и вскоре влюбленная женщина отдается ему, видимо, считая себя уже свободной от брака, поскольку муж её болен и стар.

Конечно, история знакомства чересчур романтична, в особенности это неожиданное предложение явиться на первую встречу верхом на коне, чтобы считать её подлинной. И все-таки невозможно выдумать такую историю целиком. Очень возможно, что Пьер Огюстен и в самом деле прогуливался верхом по Елисейским полям и что во время этой прогулки далеко не старая дама, несчастная в браке, впервые видит его, действительно, в очень выигрышный момент.

Как бы там ни было, сюжет «Евгении» неожиданно повторяется: дама беременна, едва её муж успевает покинуть многострадальные земные пределы. Нетрудно представить, как счастлив Пьер Огюстен, считающий отцовство высшим предназначением в жизни. Он моментально делает предложение своей новой избраннице, и предложение принимается, может быть, не без слез благодарности на глазах, и спустя три с половиной месяца после кончины супруга, одиннадцатого апреля 1768 года, происходит венчание, а спустя ещё восемь месяцев на свет появляется сын, Огюстен де Бомарше.

Однако какой-то злой рок тяготеет над этим странным сторонником правильной супружеской жизни. Вторая жена здоровьем оказывается так же слаба, как и первая. Едва удостоверившись в этом несчастье, Пьер Огюстен поспешно приобретает загородное поместье недалеко от Пантена, чтобы больная могла круглосуточно пользоваться свежим воздухом и целительным деревенским покоем. Сам же он каждое утро мчится из Пантена в Париж и каждый вечер неизменно возвращается в свой супружеский дом, причем близкие люди передают, что этот будто бы развращенный, распущенный человек, ещё в раннем возрасте вступивший на малопочтенную тропу Дон Жуана, каждую ночь проводит не только в одной спальне, но и в одной постели с женой. Когда же дела его призывают в Шинон и ему приходится одному проводить свои ночи, это ему представляется трудным, а без мысли о сыне он не в состоянии, кажется, жить, поскольку интересуется в каждом письме:

«А сын мой, сын мой! Как его здоровье? Душа радуется, когда думаю, что тружусь для него...»

Он становится довольно беспечен, а временами просто неосторожен, словно этот второй брак по любви дает ему такую уверенность в себе, что отныне ему всё нипочем.

## Глава одиннадцатая

### Дю Барри

Это опасное ощущение, что отныне ему всё нипочем, просачивается повсюду, в том числе и в его политические комбинации и интриги, которые с каждым годом всё больше захватывают его, пока не превращаются в беспокойную и неодолимую страсть, в чем он однажды признается герцогу де Ноайлю. Впрочем, признается он в каких-то своих тайных целях, лукаво уверяя старого придворного интригана, что эта страсть его улеглась, может быть, ради того, чтобы отвести от себя подозрение в том, что именно он участвовал в новой отчаянной и опасной политической переделке:

«Ещё одно безумное увлечение, от которого мне пришлось отказаться, – это изучение политики, занятие трудное и отталкивающее для всякого другого, но для меня столь же приятательное, сколько и бесполезное. Я любил её до самозабвения – чтение, работа, поездки, наблюдения – ради политики я шел на всё: взаимные права держав, посягательства государей, сотрясающие людские массы, действия одних правительств и реакция на них других – вот интересы, к которым влеклась моя душа. Возможно, нет на свете человека, который бы мучился так же, как я, тем, что, объемля всё в гигантских масштабах, сам он является ничтожнейшим из смертных. Подчас в несправедливом раздражении я даже сетовал на судьбу, не одарившую меня положением, более подходящим для деятельности, к которой я считал себя созданным. В особенности когда я видел, что короли и министры, возлагая на своих агентов серьезные миссии, бессильны ниспослать им благодать, которая находила некогда на апостолов и обращала вдруг человека самого немудрящего в просвещенного и высокоумного...»

Он и нынче считает и до конца своих дней станет считать себя созданным именно для крупной политической деятельности. Он и не думает отказываться от своего безумного увлечения, как он притворно именуется. Он тем более не помышляет совершить этот легкомысленный шаг, что именно в эти последние годы при дворе завязывается серьезная политическая игра, от исхода которой зависят и права держав, и посягательства государей, и судьба его близких друзей.

Смерть несчастной, давно оставленной королевы внезапно меняет соотношение сил, которое сложилось между королем и министрами, занятыми собственной тайной политикой и во имя успеха её окольными тропами оказывающими давление на безвольного, бестолкового, беспутного короля. Людовик XV, шестидесятилетний старик, давно подорвавший здоровье в похождениях разврата и ночных сатурналиях, с обрюзгим лицом, с равнодушным взглядом усталых выцветших глаз, вдруг ощущает разящее дыхание смерти, которое неумолимо подступает к нему. Безбожник, погрязший в распутстве, вдосталь вкусивший едва ли не от любого греха, он страшится небытия с какой-то безумной трусливостью. Какие-то странные, незнакомые чувства пробуждаются в его давно истлевшей, обуженной эгоизмом душе, может быть, что-то слабо похожее на раскаянье. Он удаляется от бесконечных дворцовых пиршеств и оргий. Он забрасывает своих малолетних любовниц, которых регулярно доставляют ему в хорошенький домик в глубине Оленьего парка. Он надолго затворяется в холодных покоях своих дочерей, давно позаброшенных, давно позабытых, а теперь как будто даже любимых, если он ещё способен кого-то любить. Как ни странно, наибольшее нравственное влияние на перепуганного дыханием смерти отца получает Аделаида, при которой, это необходимо ещё раз повторить, Пьер Огюстен состоит главным концертмейстером и музыкальным оракулом.

Именно в покоях Аделаиды укрывается оставивший все государственные дела Людовик XV. Именно Аделаида пытается понемногу забрать эти брошенные дела в свои неискусные, прямолинейные, удивительно капризные и властные руки, чтобы поцарствовать наконец, как долгие годы старой деве представлялось в слезливых мечтах.

Первыми встревожились покинутые фаворитки и придворные куртизаны, любители оргий, ночных развлечений и неиссякаемых королевских щедрот. Возвышение замшелой девицы, ограниченной и озлобленной, в первую очередь грозит процветанию всей этой своры давно утративших меру и стыд паразитов, поскольку поневоле добродетельные старые девы никому не прощают не только бешеного разврата, но и нормального семейного счастья.

Встревожился и Шуазель, руководитель всей французской внешней политики, поскольку ранее всеми покинутая, всеми презираемая старая дева готова закусить удила и смести со своего пути к власти всех, кто посмеет оспорить её капризное мнение и не примет к немедленному исполнению её пожеланий, а суровый, решительный Шуазель не принадлежит к числу тех, кем кто-нибудь мог управлять.

Как истинно призванный политический деятель, Шуазель пытается обернуть в свою пользу любое событие, малое или большое, счастливое или печальное, поскольку именно в этой редкой способности и заключается в политике высшее мастерство. Использует он и смерть королевы, и внезапную хандру короля. Он стремится упрочить отношения между французскими Бурбонами и австрийскими Габсбургами, рассчитывая на то, что политический союз Франции, Австрии и Испании, к тому же осененный общей католической верой, создаст на континенте надежный противовес растущему могуществу Пруссии, что позволит Франции, не беспокоясь за тыл, возобновить свое давнее противостояние с тоже неудержимо растущим могуществом Англии. Для осуществления своей цели он решает женить безутешного короля на австрийской эрцгерцогине, не обращая внимания на то обстоятельство, что эрцгерцогиня ещё чересчур молода. Шуазель начинает тайные переговоры с канцлером Кауницем, а через него с австрийской императрицей Марией Терезией. В то же время кто-то из его доверенных лиц подбрасывает Аделаиде и её сестрам Виктории и Софи очаровательную мысль о женитьбе отца, ради мира в семье и во избежание новых распутств, которые с годами становятся всё неприличней для великого государя, каким должен быть в глазах всей Европы французский король.

Нетрудно сообразить, что именно кто-то настраивает на эту волну Аделаиду, Викторию и Софи, поскольку все три девицы отличаются крайней скудостью умственных средств и не способны участвовать в высокой политике, какую ведет многоопытный Шуазель. Больше того, им лично новая женитьба отца абсолютно невыгодна. После смерти матери они становятся первыми дамами при дворе. С этого дня они присутствуют на всех торжествах, на всех выходах короля. Король находит не только успокоение в покоях Аделаиды, но и посещает своих дочерей в отведенное церемонией время и неизменно каждый день вместе с принцессами отправляется к мессе. Придворные, прежде не имевшие обыкновения заглядывать к старым девам, отныне толпятся у них, заискивают и льстят, в надежде приобрести новые льготы и пенсии, главный магнит всех придворных интриг. Внезапно вся троица выдвигается на первый план если не в государстве, то при дворе. В случае же вступления отца в новый брак это первое место, как прежде, при матери, займет королева, а они вновь провалятся в небытие, из чего прямо следует, что именно они должны противиться браку отца. Если же они поступают в разрез своим интересам, ясно, что за ними кто-то стоит и искусно дирижирует ими.

Между тем, внушить что-либо старым девам до крайности сложно. Прежде всего, время короля и его дочерей расписано по часам и минутам. В течение официальных аудиенций они никогда не остаются одни. Переговорить с ними с глазу на глаз практически невозможно, поскольку даже министры вынуждены испрашивать минутку-другую у короля, чтобы сделать доклад, а король может минутку дать, а может в минутке и отказать, сославшись на недосуг. Тем более ни один из министров не может проникнуть в покои принцесс. Но даже если бы кто-нибудь туда и проник, с ними невозможно говорить откровенно. Принцессы настолько ограничены, настолько капризны, настолько упрямы, что обыкновенно поступают прямо наоборот тому, что им советуют их приближенные. Чтобы внушить им мысль о благодетельности нового

брака отца, нужен кто-то, кто ими принимается запросто и обладает редким талантом подать совет так, что никому и в ум не войдет, что это совет. А кто же принят запросто у принцесс и кто обладает этим редким талантом, как не Пьер Огюстен Карон де Бомарше? Достаточно вспомнить, как ему удается привезти принцесс, а затем и короля в Военную школу, учрежденную Пари дю Верне.

Как бы там ни было, дочери действуют очень настойчиво, и престарелый Людовик в конце концов понемногу склоняется к мысли о браке. Он вовсе не прочь жениться на девочке двенадцати, одиннадцати, даже десяти лет, ведь именно девочки этого возраста служат любимым его развлечением в укромном домике в глубине Оленьего парка. Мария Терезия прямо-таки жаждет выдать свою дочь за французского короля и в принципе не имеет никаких возражений, однако эта мудрая и несчастная женщина, ради могуществ Австрии готовая пожертвовать даже честью, которую ставит превыше всех благ, все-таки не готова пойти на этот с развратом граничащий брак, до того грязна и затаскана репутация французского короля.

Шуазель и Кауниц, преследуя исключительно интересы двух крупнейших европейских держав, без труда меняют одного жениха на другого, и вскоре уже обсуждается между ними вопрос о женитьбе французского дофина, внука Людовика, то же Людовика, на Марии Антуанетте, австрийской эрцгерцогине, несмотря на то, что невесте идет одиннадцатый годок, а жених старше её всего на год. Они действуют настойчиво, решительно, быстро, и не успевает Людовик XV свыкнуться с мыслью о том, что у него скоро будет молоденькая жена, как от него добиваются согласия на брак его внука. Мария Терезия, облегченно вздохнув, что избежала позора чернейшего свойства, тотчас соглашается на этот брачный союз, поскольку эта прожженная дипломатка надеется приобрести таким способом возможность оказывать давление на политику французского короля.

Людовик XV вскоре получает компенсацию за причиненный ущерб и возвращается к жизни, более привычной ему, чем глубокое воздержание в скучных покоях своих дочерей. За его спиной сговариваются прожженный политик Шуазель и не менее прожженный развратник герцог де Ришелье. Многоопытный Шуазель без особого сожаления расстаётся с мыслью женить короля, лишь бы по-прежнему держать в своих руках все нити тайной политики, и разыгрывает другой вариант, уже однажды разыгранный с маркизой де Помпадур. Однако на этот раз, чтобы не вышло осечки, он предлагает подставить королю кого-нибудь погаже и погрязней, в надежде, что новая бабочка станет держать себя кротко и смиренно, не разрушая его политических предприятий, как осмеливалась поступать чересчур возомнившая о себе пустоголовая Помпадур.

Герцог де Ришелье с большой охотой берется привести этот план в исполнение, с удовольствием таскается сам и рассылает своих доверенных лиц по всем парижским значным местам и в довольно популярном заведении Гурдана кто-то из них откапывает девчонку, за сноровку прозванную мадемуазель Ланж.

Выясняется, что потаскушке немногим более двадцати лет. Её настоящее имя Жанн Бекю. Она незаконная дочь сладострастного аббата Гомара и Анн Бекю, которая вскоре вышла замуж за протестанта Вобернье. В этой строгой протестантской семье она была девочкой тихой, послушной и скромной. Какое-то время она даже прожила в соседнем монастыре и уже только пройдя эту благотворную школу в духе английского писателя Ричардсона стала распутной.

Биография претендентки представляется вполне подходящей как бестолковому герцогу де Ришелье, так и самому Шуазелю, который находит, что этой не получившей сколько-нибудь заметного образования шлюхой, прожившей в нищете все свои двадцать лет, опустившейся на самое дно, будет легко управлять, даже легче, чем аристократической шлюхой маркизой де Помпадур.

После столь благоприятного заключения двух различных умов мадемуазель Ланж, к которой герцог де Ришелье относится со снисхождением выдавшего виды распутника и кото-

рую Шуазель презирает и как министр и как человек, спешно приводят в божеский вид, скоропалительно выдают замуж за полоумного графа Гийома дю Барри, офицера неизвестного французского гарнизона. Графа тут же производят в капитана швейцарского полка и вручают королевский приказ следовать к месту службы очень далеко от Парижа, а молодую графиню доставляют в одно из жилищ, предназначенных для кратких утех короля.

Естественно, бедная Аделаида приходит в неистовство от такого сюрприза и решительно настаивает на скорейшем официальном браке отца, если не с австрийской эрцгерцогиней, то с какой угодно другой, лишь бы отвести старика от греха. Именно любая другая пока что не занятая принцесса может разом переменить всю внешнюю политику Франции. По этой причине крохотно умной Аделаиде искусно внушают, и я нисколько не удивлюсь, что по поручению прозорливого Шуазеля это ещё раз проделывает красноречивый Пьер Огюстен, что юная шлюшка куда менее вредна и опасна для неё же самой, чем австрийская эрцгерцогиня, расчетливый Кауниц, непреклонная Мария Терезия или юная представительница бог весть какого другого двора. Внушение проходит без сучка и задоринки, и Аделаида, скрепя сердце благодетельной дочери, без особого промедления соглашается с этими разумными доводами и наконец постигает, в чем состоят её истинные интересы при версальском дворе.

Остается столь же искусно прибрать к рукам неизвестную дю Барри. В сущности, это довольно несложно, пока она остается одной из многих наложниц и не имеет официального положения при дворе. Однако, неожиданно для Шуазеля и его верных соратников, новоявленная графиня с непостижимым проворством входит во вкус, прибирает к рукам чересчур сладострастного короля, что с её обширной практикой вовсе не трудно, и требует официального представления, намереваясь занять место, никем не занятое с момента отставки прихотливой маркизы де Помпадур. Король долго колеблется и все-таки не может устоять перед упоительными аргументами её испытанных прелестей. Подготовка к официальному представлению начинается, и Шуазель не может не понимать, как значительно, быть может, непоправимо это событие может изменить соотношение сил при дворе. Ничего другого не остается, как отменить официальное представление новоявленной графини и таким образом оставить её в прежней неизвестности, чтобы она не смела отбиваться от рук. Эффективное средство придумывает Пьер Огюстен, и тут мы с удовольствием узнаем, какие тонкие штуки пускает он в ход, когда приходится смешивать крапленые записных карты политических игроков.

Едва ли могут возникнуть сомнения в том, что именно из настоятельной необходимости крепко насолить дю Барри он обращает особенное внимание на дежурную просьбу своего непосредственного начальника герцога де Лавальера, который в страстную пятницу вечером приглашен к королю и нуждается в букете легких острот, чтобы произвести благоприятное впечатление на своего повелителя. Сам герцог мало способен производить остроты на свет, даже тяжелые, не говоря уж об легких. Отлично зная, к его чести, этот свой недостаток, он всегда в таких случаях обращается к своему подчиненному, уже прекрасно известному в свете своим неподражаемым остроумием, и тот всегда что-нибудь наскоро стряпает для него. На этот раз лукавый Пьер Огюстен тоже кое-что сочиняет. Лавальер доволен, однако просит ещё одну занимательную историю, чтобы окончательно размягчить и ублажить короля. Тут, несомненно, к Пьеру Огюстену является сладостный бес вдохновения. Пьер Огюстен принимается диктовать. Герцог де Лавальер торопливо записывает, едва ли вдумываясь в смысл того, что ему говорят.

Людвиг XV не стесняется проводить вечер страстной пятницы со своей новой любовницей и благодушествует, предвкушая разнообразно-пылкую ночь. Лавальер, улыбаясь изящно, с подходящим к месту намеком рассказывает анекдоты один за другим. Новоявленная графиня хохочет как оглашенная. Пресыщенный король снисходительно улыбается. Лавальер, преисполненный искреннего усердия, старается во все тяжкие угодить, словить приятным угодничеством фортуны за хвост и приступает к истории, затверженной наизусть:

– Мы вот здесь смеемся, а не приходило ли вам когда-нибудь в голову, сир, что в силу прав августейших, вами полученных вместе с короной, ваш долг, исчисляемый в ливрах по двадцать су, превышает число минут, истекших со дня кончины Иисуса Христа, годовщину которой мы так весело отмечаем сегодня?

Должно быть, Пьер Огюстен так и видит внутренним оком во время диктовки, как разнежившийся Людовик вскидывает голову и кратко хохочет, заинтригованный таким необычным сближением чисел, дат и имен. Он принимается не без легкого вдохновения подсчитывать минуты и ливры, вероятно, позабывши о том, что не он, её язвительный автор, выскажет эту горькую истину, а за него её выскажет недогадливый, неповоротливый герцог де Лавальер:

– Столь странное утверждение, мсье, как я предвижу, привлечет внимание всех присутствующих и, возможно, вызовет возражения. Тогда предложите каждому взять карандаш и заняться подсчетами, чтобы доказать, не вашу правоту, о нет, а вашу ошибку и повеселиться на ваш счет, что королям всегда так приятно. А вот вам готовый итог. Сего дня исполняется тысяча семьсот шестьдесят восемь лет с того скорбного дня, когда Иисус Христос умер, как известно, во спасение рода человеческого, который с момента, когда Сын Божий принес себя в жертву, естественно, застрахован от ада, чему мы имеем бесспорные доказательства. Наш год состоит из трехсот шестидесяти пяти суток, каждые сутки из двадцати четырех часов, в каждом по шестидесяти минут. Принимайтесь считать, и вы убедитесь, что тысяча семьсот шестьдесят восемь годовых оборотов Солнца, если добавить по одному лишнему дню на каждый високосный год, то есть один раз в четыре года, имеют это в виду, дает в итоге девятьсот двадцать девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч минут. Таким образом, ваша шутка исполнена, ведь король не может не знать, что его долг давненько превысил миллиард ливров и уже подбирается к двум.

Это как будто шутовское напоминание означает, что королю следует остеречься с официальным признанием своей новой шлюхи, которая в положении официальной наложницы обойдется ему раз в десять дороже, чем обходится в положении неофициальной, уравненной со всеми другими, и её аппетиты непременно доведут долго короля до двух миллиардов, уже вовсе не посильных вконец истощенной казне.

Присутствуя лично в забавной компании, Пьер Огюстен всю эту чрезвычайно поучительную, однако опасную арифметику преподнес бы с должным изяществом, с милой улыбкой, с простодушным лицом и, как всегда, смягчая пилюлю, наверняка бы рассмешил короля. Ему на беду, герцог де Лавальер неуклюже, без понимания, без вдохновения мямлит по писаному и производит противоположный, то есть слишком сильный эффект. Людовик XV не может не догадаться, в какую сторону клонит этот сознательно приуроченный к Пасхе расчет, и сделанное таким тоном напоминание о его действительно чудовищном долге, который даже полнейшим разорением Франции уже нельзя возместить, грубо задевает его за живое. Он набрасывается на невольного остряка:

– Эта остроумная история весьма напоминает скелет, который, как рассказывают, подавался под цветами и фруктами на египетских пиршествах, чтобы умерить слишком шумную веселость гостей. Вы сами до этого додумались, Лавальер?

Тут только простоватый герцог соображает, какого сваял дурака, и в испуге выдает и королю, и графине имя коварного изобретателя шутки:

– Нет, сир, это Бомарше заморочил мне голову своими расчетами.

Разумеется, король милостиво прощает милейшего герцога де Лавальера, а Пьер Огюстен с этого черного дня попадает в немилость, так что в дальнейшем не может рассчитывать на защиту со стороны короля. Официальное представление ко двору новой графини происходит без малейшей заминки, а дю Барри не может не отомстить при первой возможности человеку, из-за которого её положение при дворе в течение нескольких минут висело на волоске.

Мало того, вместе с ним под угрозой оказывается и вся хитроумно сплетенная политика Шуазеля. Этот сильный и мудрый политик, неудачливый единственно по вине враждебных ему обстоятельств, пытающийся избавить королевскую Францию от уже предвиденных бед, совершает, по всей вероятности, единственную и самую большую ошибку за всю свою политическую карьеру, подсунув никчемному королю эту грязную трактирную шлюху. Мари Жанн дю Барри, владеющая опасным искусством разврата, оказывается сильнее многоопытного министра, который, приближая её к королю, чересчур понадеялся на себя и на быющую в нос непристойность её смердящего прошлого. Из брезгливого пренебрежения к обретенным на панели достоинствам Шуазель на этот раз позволяет себе глядеть невнимательно и не успевает вовремя разглядеть, что новоявленная графиня не только умна крепким природным умом, но изворотлива, коварна, хитра и жадна так, как ни одна из прежних королевских наложниц, к тому же мстительна и способна к борьбе, как никто.

Вся от макушки до кончиков пальцев ноги извалявшись в зловонной грязи и неожиданно для себя вынырнув на первое место в золоченом Версале, она с удивительной цепкостью хватается за свое положение и не желает его потерять, сознавая, конечно, что её положение недолговременно и непрочное. Людовик XV уже близок к тому, чтобы превратиться в развалину, а готовящаяся женитьба дофина слишком прозрачно указывает на то, что новый король и новая королева уже готовятся унаследовать власть. Сколько ей остается? Может быть, год или два. К тому же её со всех сторон окружают враги, начиная с той старой мумии Аделаиды, кончая высоколобыми министрами и распутным герцогом де Ришелье, старым соратником короля по распутству. Она должна сделать всё, чтобы по возможности дольше, до самых последних пределов растянуть жизнь этой высокородной развалины и тем самым на все эти годы сохранить свою власть.

И эта необразованная, не склонная к философским умозаключениям шлюха природным чутьем угадывает свой – единственный шанс, который не замечают ни Шуазель, ни Пари дю Верне, ни Пьер Огюстен. Как знать, может быть, по наивности или от своего безмерного счастья она сама верит в то, что каждый день говорит. Изю дня в день хитрая bestия повторяет утомленному ежедневным развратом владыке, что он всезнающ и мудр, что вот уже шестьдесят лет он с непостижимым успехом управляет самым могущественным королевством в Европе, что он нужен, прямо необходим своему счастливому королевству, что королевство без него пропадет. Вот почему, уговаривает она, он обязан бережно относиться к себе, сберечь свои драгоценные силы, жить уединенно и скромно, как никогда прежде не жил.

Усталость и лесть легко находят дорогу к уму и сердцу Людовика. Король всё чаще уединяется в покоях графини Мари Жанн дю Барри. Она же торопливо сооружает в удалении от Версаля небольшой домик из пяти комнат, увешивает стены приятными для глаз гобеленами, полы устилает коврами, скрадывающими шаги. В этот домик она залучает к себе слабовольного повелителя Франции и под предлогом сбережения сил и покоя, в котором нуждается он, подпускает к нему только избранных, то есть лишь тех, кого держит в руках, и время от времени, кроме собственных неувядающих прелестей, подсовывает ему молоденьких девочек, чтобы бедный король не скучал.

И всё. Прюделав эту несложную комбинацию, графиня Мари Жанн дю Барри целиком и полностью овладевает волей Людовика. Не успевают Шуазель и его партия, а в её числе и Пьер Огюстен, озабоченные действительно благом Франции, глазом моргнуть, как все дела в королевстве вершатся единственно по указанию и разумению маленькой шлюхи, ею самой или теми людьми, которыми она окружает себя. Сначала это д'Эгийон, трусливый и пошлый, затем заносчивый тупоголовый Мопу, украшенный плоским ртом и крысиными глазками, о котором сам Людовик однажды со вздохом сказал: «Конечно, мой канцлер мерзавец, но что бы я без него делал!», наконец, аббатом Терре, вороватым, развратным, продвинутым на важнейший пост генерального контролера финансов, отыскавшим великолепный способ уплачи-

вать несметные долги короля, предлагая кредиторам тридцать сантимов за ливр, то есть путем откровенного грабежа.

Сама же графиня Мари Жанн дю Барри обходится королевской казне в громадную сумму, более десяти миллионов, иные считают, что более двенадцати и даже пятнадцати миллионов. Что же касается экономики Франции, то бедствия, причиненные ей этой очаровательной хищницей, неисчислимы. И если кто собственными руками закладывает первый заряд под будущий взрыв революции, то это она, бывшая шлюха, а ныне графиня Мари Жанн дю Барри, последняя любовница ненасытного короля.

Разумеется, при такой безоглядой щедрости искусно убажваемого владыки, привыкшего принимать государственную казну за бочку без дна, не может заныть и речи о каком-нибудь воздействии на эту вздорную голову со стороны. Королевским министрам, в том числе Шуазелю, остается только злобно браниться в тиши своих кабинетов и, ожидая отставки, в изумлении наблюдать, с какой безошибочной дипломатической ловкостью эта трактирная дрянь прибирает к рукам того безвольного, легкомысленного правителя, которого им самим никогда не удавалось поработить при помощи самых продуманных, самых изощренных интриг.

В самом деле, есть от чего прийти в изумление, а если глядеть беспристрастно, то нельзя не восхищаться её примитивной, но точной изобретательностью. Чего стоит один великолепно исполненный мастерской кистью Ван Дейка портрет английского короля Карла Стюарта, приблизительно за сходные прегрешения казненного по приговору взбунтовавшегося парламента. Графиня приказывает повесить этот злополучный портрет в своей спальне на самое видное место. Всякий раз, как непостоянный, вечно колеблющийся Людовик появляется в этом притягательном месте, она с молчаливой угрозой указывает обремененным дорогими перстнями перстом на несчастную жертву террора. Она уверяет этого невольника сладострастия, что та же ужасная участь ждет и Бурбона, если Бурбон проявит уступчивость или слабость, не имея, конечно, ни малейших исторических сведений о том, что Карл Стюарт пал жертвой именно своей высокомерной, большей частью бессмысленной неуступчивости.

С не меньшей психологической проницательностью она обставляет каждый обед. На обед приглашается только несколько избранных, приближенных, преданных лично ей и лично от неё ожидающих милостей в титулах, пенсиях и поместьях вельмож. Во время обеда в нескольких хорошо обдуманых и хорошо закругленных словах излагается состояние государственных дел и определяются постановления, которые позже подпишет одурманенный её жаром король. Затем за десертом все деловые беседы обрываются одним легким мановением сиятельной хозяйки стола, наступает время анекдотов и веселых историй, которыми надлежит отвлечь и развлечь короля. Чаше других поднимается тема банкротств, будто бы катящихся по европейским дворам, и присяжные сплетники не стесняются договариваться до самых невероятных вещей. Так, объявляется вдруг:

– Мария Терезия совершенно, совершенно разорена. Пустая казна. Предполагает продать Шёнбруннский дворец.

Глуховатый король прикладывает к уху ладонь:

– Что, императрица разорена? Пустая казна?

Сама графиня с кошачьим изгибом тянется к его уху и подтверждает:

– Она просто нищая, нищая. Никто не платит налогов.

Коронованный дурак с довольным видом смеется:

– Продать Шёнбрунн? А, так значит у неё тоже трудные времена!

А если даже у скопидомной Марии Терезии трудные времена, он богат в сравнение с ней, и можно дальше кутить и швырять миллионы в подол этой очаровательной хищнице, которая так прекрасно занимает его.

Да, прекрасной Францией правит трактирная дрянь, король летит в бездну безнравственности, а вместе с ним и весь двор, и весь золоченый Версаль, толпящийся возле неё, вытор-

говывая и выпрашивая у неё благосклонность, внимание, пенсию, должность, кивок головы. Может быть, этот ужас падения вызывает у Пьера Огюстена потребность преподнести духовно обнищавшему обществу правила здоровой и прочной морали, которая сохраняется в третьем сословии несмотря ни на что. Не нахожу ничего неестественного в такого рода стремлении, и вот, не остереженный сомнительным, во всяком случае не слишком ярким успехом «Евгении», Пьер Огюстен берется за драму.

Однако что за мученье испытывает он за столом! Он делает, он тачает её, как исправный сапожник тачает пару сапог. Целых шесть рукописей остается свидетельством этих довольно унылых трудов. Даже название переименовывается множество раз: «Ответное благодеяние», «Лондонский купец», «Поездка генерального откупщика», «Истинные друзья», пока наконец не закрепляется «Два друга, или Лионский купец», переключка с «Венецианским купцом», случайная, скорее всего.

Нужно отдать должное упорным трудам: Пьер Огюстен, пока ещё смутно, угадывает собственное призвание. Ему мало одной нити, которая связывает все эпизоды «Евгении». Ему необходимо переплести множество нитей, перемешать, перепутать события так, чтобы черт ногу сломал, и затем распутать клубок лишь в самом конце. Эту операцию он проделывает чрезвычайно искусно. На этот раз в действие вводится пять центральных героев, а самое действие развивается в разных направлениях и в нескольких планах, причем перепутываются между собой замысловатые и неожиданные преграды на пути возвышенной сентиментальной любви, вроде той, какая, видимо, сразила его самого, и недоразумения денежных операций, которые накручиваются вокруг двух банкиров.

В сущности, всё в этой драме так интересно, что оторваться нельзя, все детали прилаживаются друг к другу, как шестеренки в хороших часах, и Пьер Огюстен, без сомнения, прав, когда впоследствии скажет, что эта драма сколочена много лучше остальных его пьес.

Беда единственно в том, что на радостях, вызванных осуществлением идеала супружества и отцовства, в соединении с потребностью преподать принципы здоровой морали, он доводит своих честнейших банкиров до невероятного, абсолютно недостижимого совершенства. Он приписывает им столько чувствительности, самоотверженности и благородства, они так усердно поступают собственными материальными интересами, чтобы выручить ближнего из беды, до того великодушны и незлобивы, что такому идеальному совершенству просто-напросто поверить нельзя. К тому же он увлекается своей любимой коммерцией так, что его персонажи без перерыва трактуют о векселях, о процентах, о биржах, о сделках, то есть черт знает о чем, и зритель ещё меньше может понять, какое ему дело до всех этих таинственных операций, чем понимал это, когда увидел «Евгению».

Но и эти бесчисленные подробности мало знакомых предметов зритель, возможно, и проглотит бы, несмотря на невероятную скуку. Но чего никакой зритель никогда не проглотит, так это отсутствия вдохновения, а в этой драме именно вдохновения не слышится ни на грош. Всё в ней смонтировано, сколочено, свинчено, собрано, нигде ни проблеска живой жизни на сцене, ни искры задора, свежести, дерзкой отваги творца.

Премьеру дают в 1770 году, в тринадцатый день зимнего месяца января, точно этим фатальным числом нарочно хотят его подкузмить, и кончается премьера каким-то ужасным провалом, какой в истории мирового театра крайне редко можно найти. Все, кто видел и кто не видел эту несчастную пьесу, так и обрушились чуть не с проклятиями на обомлевшего автора.

Начать с того, что какой-то злоязычный шутник приписал кое-что на афише, так что прохаживаемые вместо прежнего названия стали читать: «два друга автора, потерявшего всех остальных», и шутник оказывается поразительно прав, точно заглядывает в ближайшее будущее, готовое разразиться грозой. Кроме того, весь Париж забавляется эпиграммой:

На драме Бомарше я умирал от скуки,

Там в обороте был огромный капитал,  
Но, несмотря на банковские муки,  
Он интереса не давал.

Желчный Гримм на этот раз распоясывается совсем и позволяет себе делать намеки, которых не должен делать порядочный человек:

«Лучше бы ему делать хорошие часы, чем покупать должность при дворе, хорохориться и писать скверные пьесы...»

Один Фрерон дает полезный совет:

«Пока мсье Бомарше не отвергнет этот узкий жанр, который он, кажется, избрал для себя, я советую ему не искать сценических лавров...»

Прочая литературная братия, всегда готовая с каким-то хищным удовольствием растоптать неудачника, улюлюкает от души, предоставляя ему возможность испить горькую чашу провала до дна, так что впоследствии его весельчак Фигаро с удовольствием отомстит:

«В Мадриде я убедился, что республика литераторов – это республика волков, всегда готовых перегрызть друг другу горло, и что, заслужив всеобщее презрение своим смехотворным неистовством, все букашки, мошки, комары, москиты, критики, завистники, борзописцы, книготорговцы, цензоры, всё, что присасывается к коже несчастных литераторов, – всё это раздирает их на части и вытягивает из них последние соки. Мне опротивело сочинительство, я надоел себе самому, все окружающие мне опротивели...»

В общем, его положение становится незавидным, и все-таки поношения эти, этот жестокий провал всё ещё сущие пустяки.

Истинное несчастье уже торчит у дверей.

## Глава двенадцатая

### Игра в молчание

В свои восемьдесят шесть лет Пари дю Верне сохраняет полнейшую ясность ума, однако его здоровье стремительно ухудшается. Ещё пять лет назад он составил свое завещание. По этому завещанию он лишает наследства своего племянника Жана Батиста Пари дю Мейзье, в чине полковника, который давно вступил в зрелый возраст и сам по себе, благодаря содействию дяди, слишком богат, чтобы нуждаться в дополнительных средствах. К тому же, по каким-то неясным причинам недалёковидный полковник имел глупость основательно поссориться с дядей, так что даже обходительный и неотразимый Пьер Огюстен не в состоянии их помирить. Всё свое несметное состояние приготавливающийся к недалёкой кончине банкир оставляет внучатой племяннице Мишель де Руасси, вышедшей замуж за Александра Жозефа Фалькоза, имеющего титул: граф де Лаблаш.

Вскоре после ошеломляющего провала «Двух братьев» Пари дю Верне призывает к себе основательно избитого автора. Оба плотно затворяются в его кабинете и долго разбираются в своих бесчисленных предприятиях, сохраняемых в строжайшем секрете, взаимных обязательствах и взаимных уступках. Одни закреплены честным словом, другие векселями и долговыми расписками, о которых так много и со знанием дела трактуется в только что провалившейся драме. Многие обязательства своими корнями так глубоко уходят в политику, особенно тайную, что они оба говорят только вполголоса, а если им приходится один другому писать о такого рода скользких делах, то они изъясняются таким языком, что можно только понять, что ничего невозможно понять:

«Прочти, Крошка, то, что я тебе посылаю, и скажи, как ты к этому относишься. Ты знаешь, что в деле такого рода я без тебя ничего не могу решить. Пишу в нашем восточном стиле из-за пути, которым отправлено тебе это драгоценное письмо. Скажи свое мнение, да побыстрее, а то жаркое подгорает. Прощай, любовь моя, целую так же крепко, как люблю. Я не передаю тебе поклона от Красавицы: то, что она тебе пишет, говорит само за себя...»

Само собой разумеется, все эти тайные операции остаются во всей своей силе, только все нити тем, кто уходит, передаются в руки того, кто остается его дела продолжать, и отныне Пьер Огюстен по одному своему разумению вынужден будет решать, как ему поступить, чтобы жаркое не подгорело и чтобы Красавица не надула его. Этих тайн, политических и коммерческих, уже никто никогда не раскроет, хотя именно владение ими приносит тому, кто остался, и громадные миллионы, и сокрушительные удары судьбы.

Затем столь близкие компаньоны улаживают разные мелочи, однако и мелочи они оформляют как должно, в двух экземплярах, чтобы исключить любые посягательства с чьей бы то ни было стороны в траурный миг передачи наследства. Истинные отношения между ними замалчиваются, записывается же черным по белому единственно то, что они решают нужным довести до сведения будущего наследника. По этим, официальным, бумагам считается, что Пьер Огюстен возвращает своему компаньону сто шестьдесят тысяч ливров и разрывает контракт на совместную разработку Шинонского леса. Подтверждается также, что Пьер Огюстен рассчитался со своим компаньоном по всем обязательствам. Указывается, что Пари дю Верне остается должен своему младшему другу пятнадцать тысяч ливров, которые Пьер Огюстен может получить по первому требованию. Утверждается, что Пьер Огюстен берет в долг семьдесят пять тысяч ливров сроком на восемь лет.

Одно обстоятельство все-таки остается неясным. Этот важнейший из документов, которому надлежит защищать Пьера Огюстена от возможных претензий наследника, отчего-то не попадает на подпись к нотариусу, скорее всего оттого, что компаньонам и в голову не прихо-

дит, чтоб наследники, получающие от доброго дяди что-нибудь около пятидесяти миллионов ливров, наличными и в недвижимости, станут тягаться из-за каких-нибудь пятнадцати тысяч.

Сведение расчетов и обязательств происходит первого апреля 1770 года. Спустя полтора месяца, шестнадцатого мая, совершается давно задуманное венчание четырнадцатилетней Марии Антанетты, эрцгерцогини австрийской, с шестнадцатилетним французским дофином, внуком Людовика XV, тоже Людовиком. Это венчание устроено наконец Шуазелем, в расчете на упрочение союза Франции с Австрией. После такого внезапного и полного воцарения дю Барри в покоях и в мозгах короля он явно торопится как с государственным, так и с брачным союзом. Это становится ясным, если учесть, что прежде дело о сватовстве тянулось несколько лет, не выходя, не смотря на усилия Марии Терезии и её канцлера Кауница, из пределов двусмысленной неопределенности, тогда как именно в последние месяцы оно вдруг помчалось галопом.

Венчание совершается в капелле Людовика XIV, и лишь самые родовитые, самые избранные аристократы французской короны допускаются присутствовать на этой сверх торжественной церемонии, совершаемой архиепископом Реймским, который позднее окропит святой водой и бесплодную постель молодых. Затем король и члены королевской семьи в строжайшей последовательности подписывают громадный, на многих страницах брачный контракт, причем девочка, которую неумолимой силой дипломатических толкают в ленивые объятия чужого ей человека, волнуется так, что выводит свое многосложное имя каракулями и сопрождает эти каракули кляксой.

Лишь после того как поставлена последняя подпись распахиваются ворота версальского парка, где ожидается праздничный фейерверк, и приблизительно половина Париж, как позднее померещится очевидцам, растекается по аллеям и окружает величественные фонтаны, чтобы поглазеть на монаршее торжество. Правда, поглазеть простым парижанам не удастся. Вскоре после обеда Версаль внезапно покрывает чернейшая туча и разражается такая гроза, обрушивается ливень такой редкой силы, что измокшая до нитки толпа устремляется обратной дорогой в Париж.

Нисколько не сожалея о промокшей толпе, королевская семья усаживается за ужин. Шесть тысяч приглашенных толпится на галереях, чтобы не пропустить ни одного движения короля, дофина и новой дофины. Более чем понятно, что в этой толпе лишенных благодати перекусить за королевским столом, непросвещенных и немудрящих по высоким королевским понятиям, конечно, отсутствует Пьер Огюстен Карон де Бомарше, высокоумный и просвещенный по понятиям века. Отсутствует он не столько потому, что король оскорблен лукавыми сведениями о своем безответственном долге, так ловко подсунутыми через герцога де Лавальера, и не желает видеть его, сколько потому, что для короля и всей этой пестрой толпы лизоблюдов он навсегда остается жалким плебеем, сыном часовщика, купившим патент на право именоваться де Бомарше.

Затем отворяется спальня. Молодые остаются вдвоем, и тут начинается горькая, но в то же время жалкая история новой королевской четы. Семь лет подряд, чуть не каждую ночь, неуклюжий, рыхлый, стеснительный, слабосильный Людовик пытается сделать женщиной ещё более юную, но тоже холодную, равнодушную Марию Антуанетту и зачать с ней наследника трона, которого ждет вся Европа, и семь лет оказывается неспособным совершить это простейшее дело, доступное любому крестьянину с пол-оборота. Коварная весть о позорной несостоятельности дофина скоро расплзается по Версалию, затем перелетает в Париж, разносится по Франции, по всем европейским дворам и харчевням. Дипломаты сообщают об этих бесплодных усилиях всё ещё формального мужа правительствам, которые они представляют в Париже, и граф Аранда, испанский посланник, подкупает прислугу, которая заведует королевским бельем, чтобы с точностью знать, если всё же несчастный дофин, недотепа и увалень, свершит наконец свой естественный долг.

Этот повышенный интерес к интимной жизни юных дофинов объясняется не только обычным людским любопытством, любящим запускать глаза в чужую постель. В стране монархической, давно живущей по закону о первопреемстве, не могут не ждать наследника трона с повышенным интересом. Можно без большого преувеличения утверждать, что от усердия дофина и дофины в этих сугубо интимных делах зависит будущее страдающей Франции, а вместе с ней и будущее всей малоблагополучной Европы. Вот почему довольно комическое бессилие молодого дофина, а позднее венценосного короля внезапно для всех становится символом всей оскудевающей, клонящейся к естественному упадку королевской фамилии, уже около ста лет как исчерпавшей себя. Под воздействием этой пикантной истории с наследственным носителем власти слетает последний ореол божественного происхождения, который его окружал в течение последней тысячи лет. Носитель власти, передаваемой по наследству, не только низводится до положения обыкновенного человека, у которого не всё в порядке с деторождением, он внезапно оказывается самым слабым, самым неспособным, самым ничтожным среди своих исправно деторождающих подданных и потому самым смешным, поскольку не справляется с таким простым делом, с которым играючи справляется любой сапожник или солдат.

И немудрено, что этот игривый мотив несостоятельности мужчины в такой исконно человеческой сфере, как брак и семья, превращается в скрепляющий стержень новой комедии, которую очень скоро сочинит Пьер Огюстен Карон де Бомарше, уже понемногу начинающий понимать, отчего разразилась ошеломляющая катастрофа над его предыдущими пьесами.

Брак слишком юного, слишком неповоротливого, к тому же крайне застенчивого дофина и ещё более юной австрийской эрцгерцогини внезапно рождает ещё один почти невероятный сюжет, по внешности узко придворный, не выходящий из пределов вседневных каверз извечно интригующего двора, в действительности глубоко политический, едва ли не решающий для судеб Франции и судеб Европы на ближайшую половину столетия.

Сюжет завязывается невольно и сам по себе, с первого дня появления Марии Антуанетты при французском дворе. Едва успевает энергичная дю Барри, нагло отеснив неумных принцесс, утвердиться на первом месте в версальском дворце, как в его залы вступает молодая дофина, будущая французская королева, настоящая эрцгерцогиня, подлинная дочь австрийского императора и тем самым бесспорная, наизаконнейшая во всех отношениях первая дама двора. Разумеется, Мария Антуанетта слишком юна и сама о своем первенстве имеет пусть твердое, но довольно смутное представление и вовсе не имеет никакого представления о той роли, которую играет молодая наложница престарелого короля.

Нетрудно предположить, что благодаря счастливому неведению юности графиня дю Барри осталась бы на своем прежнем месте как ни в чем не бывало. Однако тут вновь из своих захолустных версальских апартаментов на сцену выдвигаются навечно погрязшие в мелких интригах принцессы, ведомые неукротимой Аделаидой, самой агрессивной из них. Принцессы жужжат в оба уха своей новой племяннице, кто такая в действительности эта законченная стерва мадам дю Барри, и нашептывают ей ловкий совет, фантастический по своей простоте: не заговаривать с этой мерзавкой, не унижать перед шлюхой достоинства дофины и эрцгерцогини.

Мария Антуанетта воспитана при чрезвычайно чопорном австрийском дворе, где дамы легкого поведения по высочайшему повелению Марии Терезии подвергаются порке. Естественно, она загорается искренним отвращением к распущенным нравам раззолоченного Версаля. Ей приятно принять на себя почтенную роль блюстительницы высокой морали. Вот почему она упорно, хладнокровно, с презрительным спокойствием истинной австриячки молчит всякий раз, как к её особе приблизится эта расфуфыренная распутница дю Барри.

Натурально, дю Барри зеленеет от бешенства. Двор замирает. Тысячи праздных глаз с жадным вниманием следят за этим поразительным поединком невольной девственницы и патентованной проститутки. Власть самозванной графини колеблется и готова рассыпаться в прах. Всё меньше просителей и лизоблюдов толпится в её плебейски-пышной приемной, всё

больше более ловких и прозорливых претендентов на синекуры и пенсии присоединяется к кружку очаровательной юной дофины, сумевшей так неожиданно и так твердо себя показать.

Забавно тут особенно то, что Мария Антуанетта не подозревает, как и старые девы, заварившие эту невероятную кашу, как и весь двор, что её упорным молчанием решается в этот момент европейской истории чрезвычайно важный вопрос, В этот самый момент три великих державы спорят о том, быть или не быть на пестрой карте Европы целому государству. Они тоже не знают ещё, что спорят о том, быть или не быть в недалеком будущем двадцатилетней войне объединенных европейских держав против охваченной революцией Франции. Быть или не быть смертному приговору французскому королю, обвиненному в измене отечеству. Уцелеть или не уцелеть её собственной голове. Состояться или не состояться кровопролитным походам дерзновенного Бонапарта. Остаться невредимой или сгореть златоглавой Москве.

Собственно, о столь разрушительных перспективах не подозревают и те, кто, в какой уже раз, стоит за спиной этих вислоухих принцесс. Те, кто стоит у них за спиной, озабочены вполне конкретными и ближайшими целями. Они защищают интересы Франции в одном частном вопросе, о которых Людовик XV, запутавшийся в прочных порочных сетях волшебницы дю Барри, давно позабыл.

Этот частный вопрос касается Польши, из-за внутренних неурядиц рассыпающейся в прах у всех на глазах. Кичливые польские паны проваливают в сейме любое решение, брякнув, кстати или некстати, на трезвую или на пьяную голову, свое высокомерное слово: «Не хочу». Малейшее посягательство со стороны реформаторов на это архаическое право независимой аристократии единолично распоряжаться несчастной страной влечет со стороны вольных панов злобный протест, от дворцовых переворотов до открытой вооруженной борьбы. Любая неурядица, заварившаяся в неугомонной столице, ведет к возмущениям или восстаниям белорусского и малороссийского населения, несколько столетий назад насильственно втиснутого в пределы чуждого, непомерно распространившегося за счет восточных соседей польского государства, с довольно нелепым названием Речь Посполитая. Русская дипломатия исподтишка или открыто поддерживает белорусских и малороссийских повстанцев и подбирает им кое-какое оружие из обширных арсеналов великого государства, рассчитывая таким простым способом вернуть в лоно единой и неделимой России исконные русские земли. При благоприятном стечении обстоятельств алчная, изначально агрессивная Пруссия в любой момент готова бесконечно расширяться на восток, и смущает её только то, что ей не по силам проглотить этот лакомый, но слишком обширный кусок. Французская дипломатия, тоже исподтишка или явно, направляет в ряды реформаторов своих волонтеров, способствуя таким образом внутреннему перерождению этого одряхлевшего, на корню гниющего государства, которое она издавна в нужный момент направляет то против Пруссии, то против России, и ещё раз с его помощью укрепить пошатнувшееся положение Франции на континенте.

При неутомимом соперничестве этих ведущих европейских держав непутная Речь Посполитая может разлагаться и отравлять европейский воздух века, как века разлагается и отравляет тот же воздух когда-то могущественная империя Оттоманов. Однако соперничество, при непрестанном лицемерии этого лакомого куска, начинает понемногу сменяться согласием. С нескрываемой жадностью смотрит на Речь Посполитую ненасытный прусский король, законченный захватчик, способный стянуть всё, что плохо и не так плохо лежит. Сам он, жестоко побитый в Семилетней войне, как ни вертится, как ни крутится, не решается сделать в этом направлении самостоятельный шаг: могут и снова побить. Он засыпает прелестными письмами российскую государыню, свою родственницу, и склоняет её, без долгих раздумий, поделить Речь Посполитую пополам. В душе Екатерины понемногу начинает говорить ретивое, она ведь тоже из рода вековых захватчиков, ей тоже очень хочется что-нибудь отхватить.

Слава Богу, русской внешней политикой ведает, почти бесконтрольно, граф Никита Иванович Панин, государственный человек, политик не только умный, но спокойный и даль-

видный. Он категорически возражает против раздела. В его дипломатические расчеты входит слабая Пруссия и сильная Польша. Он не только не желает усиливать Пруссию за счет западных польских земель, он настаивает на том, чтобы в Польше была усилена, в противовес панской вольнице, королевская власть. Если столь важное преобразование устроит российская государыня, Польша окрепнет, сохранит независимость, и беспокойная соседка обернется для России верной союзницей.

Ему и этого мало. Граф Панин исподволь трудится над созданием Северного союза. В этот союз, кроме России, должны войти, под разными соусами, Англия, Дания, Пруссия, Польша и Швеция. По его мысли, союз должен носить характер оборонительный. Он, видимо, понимает, что и оборонительный союз в таком солидном составе окончательно вытеснит Францию, а с ней её союзников Австрию и Испанию, из европейской политики и на многие десятилетия обеспечит безопасность Российской империи.

Шуазель сбивается с ног, чтобы похоронить этот зловредный союз ещё в колыбели. На месте союза им воздвигается хаос, раздор. В надежде отвлечь её от европейской политики, ему удается натравить на Россию турецкие полчища: по его мнению, в европейской политике Россия начинает играть уж слишком важную роль. Однако нечестивые турки терпят одно поражение за другим. Им в помощь он пытается поднять на Россию поляков. Он пишет своему эмиссару, засевшему в Данциге, причем не смущается ложью:

«Король истинно интересуется судьбой Польши. В этом отношении вы не можете ничего преувеличить в разговорах своих с патриотами, лишь бы вы ограничивались общими местами, которые не обязывают вас ни к чему, лишь бы только вы давали им чувствовать, что жалкие и бессвязные действия польской нации, которая сама не умеет помочь себе, не дают и друзьям её средств ей помочь. Вы должны говорить, что полякам надобно согласиться между собой, уговориться с турками и татарами, которые взялись за оружие в интересах республики. Патриоты должны чувствовать, что с этих пор только от оружия должны зависеть спасение, независимость, самое существование республики. В настоящих обстоятельствах самый главный предмет – это делать всевозможное зло русским, не стесняясь каким-нибудь временным неудобством, которое может из этого произойти. Эта политика составляет часть великих видов, входящих в настоящую систему короля...»

Шуазель направляет к польским повстанцам, которые воюют не столько с русскими, сколько с собственным королем, крупные суммы денег и военных советников. Всё напрасно. Драгунский капитан Толес, проникший со стороны турецкой Молдавии, находит такие раздоры, такую анархию, такую способность к бандитизму и неспособность к войне, что считает за благо не тратить французских денег и возвратиться домой, направив Шуазелю зашифрованное послание:

«Так как я не нашел в этой стране ни одной лошади, достойной занять место в королевских конюшнях, то я возвращаюсь с деньгами, которых не хотел употребить на покупку кляч».

Та же участь постигает миссию Шарля Франсуа Дюмуре, который вместо повстанческой армии обнаруживает бесконечные пиршества двух или трех десятков вождей, которые постоянно ссорятся между собой, а между делом вешают вдоль дорог нищих православных и богатых евреев. Он не только не дает им ни сантима, он и Шуазелю советует прекратить выплачивать пособия, назначенные им из королевской казны.

Возвышение России шатает положение Франции. Шуазель следит за каждым шагом её дипломатов. Дипломатические депеши, идущие на имя российского поверенного в делах из Петербурга в Версаль и от его имени в Петербург, постоянно вскрываются, а иногда пропадают. Время от времени вскрываются и пропадают даже частные письма. Никита Иванович Панин поручает Хотинскому, поверенному в делах сделать запрос Шуазелю, какая же после этого польза пребывания во Франции российского поверенного в делах. Неожиданно для Шуазеля Хотинский замечает с независимым видом:

– Россия и Франция не в таком положении, чтобы нуждались в сохранении только внешних приличий.

Шуазель поражен столь неслыханной наглостью русских. Он выходит из себя и раздражается гневной филиппикой:

– Не понимаю, с чего Россия вздумала оспаривать у Франции первенство. Не по слухам, но по собственному опыту я знаю, что послы императрицы Елизаветы уступали место французским послам. Я сам был тогда послом в Вене, когда там был покойный Кейзерлинг. Он никогда не спорил со мной за место и всегда садился ниже меня. Имейте в виду, что Франция уже занимала важное место в Европе, когда Россия вовсе была неизвестна. Было бы несправедливо, если бы теперь Россия отняла у неё это место. Когда русские государи называли себя царями, то не имели притязаний на первенство. Явились затруднения только с тех пор, как им уступили императорский титул, вероятно, потому, что под императором разумеют главу государей. Однако Франция не считает себя обязанной уступать, потому что в России она не нуждается. Если же Россия станет упорствовать в своих невозможных претензиях, то мы разом покончим с этими спорами. Мы отнимем у русской государыни императорский титул: об этом король объявит манифест. Испания последует нашему примеру. Мы сделали глупость, когда уступили титул, но мы исправим свою ошибку однажды и навсегда.

Хотинского нисколько не пугают такого рода угрозы. Он понимает, что дело не в титуле и что отобрать этот титул у Франции коротки руки. Он вежливо разъясняет:

– Россия не претендует на первенство, но и не уступает его. Россия требует равенства.

Шуазель окончательно теряет присутствие духа. Он отрезает:

– Равенство невозможно! Где есть первый, там непременно должен быть и второй!

Он силится удержать это первое место в Европе. Браком Марии Антуанетты с французским дофином он пытается как можно крепче привязать Австрию к Франции. Союз центральных держав он противопоставляет слишком опасному Северному союзу, в фундамент которого уже закладываются первые камни. Тем не менее союз центральных держав, не успев зародиться, начинает трещать по всем швам. Он много обещал, пока вся власть сосредоточивалась в руках Марии Терезии. Тогда ни о каком разделе Польши в союзе с Пруссией и подумать было нельзя. Мало того, что прозорливая Мария Терезия терпеть не может неугомонного прусского короля, который только и ищет, за чей бы счет поживиться, будь то Австрия, Саксония или Польша. Мария Терезия отличается повышенной щепетильностью. Её нравственному чувству мерзит вот так, по-разбойничьи, среди белого дня отхватить у беспомощного соседа изрядный кусок. Да и дальновидный Кауниц не может не предвидеть грядущей опасности. Лоскутная Австрийская империя и без того отчасти венгерская, отчасти славянская. Немецкое население составляет в ней меньшинство. Включение в её состав новой массы инородного славянского населения грозит ей немалыми смутами, подобными тем, какие у всех на глазах потрясают тоже лоскутные Польшу и Турцию. Они размышляют. Они тянут с ответом.

Однако Мария Терезия больна и стара. Мало-помалу власть переходит к её сыну Иосифу, человеку недалекому и беспокойному. Он больше не повинуется осторожной, осмотрительной матери. Себе в образец он берет прусского короля, которого его мать почитает дьяволом, исчадием ада. Он, как все немцы, грезит войнами, захватами, расширением границ за счет слабых соседей, и Кауниц, прежде верный Марии Терезии, начинает склоняться на сторону её неблагодарного сына, понимая, что очень скоро он станет единовластным правителем Австрии.

Поначалу Иосиф вламывается в европейскую политику сломя голову и чуть было не попадает в беду. Россия представляется ему слабой, подолгу не выходящей из внутренних смут. В расчете приобрести Молдавию и Валахию он решается поддержать Турцию, как только та объявляет России войну. Австрийские войска сосредоточиваются на восточной границе, готовые при первом удобном случае ударить во фланг русской армии. Такой поворот событий очень не нравится Шуазелю. В случае войны Франции придется либо послать на помощь австрий-

цам войска, либо выделить своей союзнице значительные денежные субсидии, а нищая казна короля не в состоянии позволить себе ни того, ни другого, не говоря уж о том, что ей не выдержать новой общеевропейской войны. Ему приходится удерживать от необдуманного поступка прыткого юношу. Он спешит разъяснить:

«Не из какой-либо фантазии находится Франция во враждебном отношении к России. Государыня, царствующая в Петербурге, с первых месяцев своего правления обнаружила свою честолюбивую систему. Нельзя было не увидеть её намерение вооружить Север против Юга. Одно из оснований нашего союза с Австрией состоит по возможности в избежании континентальной войны. Если бы Северный союз состоялся, Австрия и Франция необходимо были бы затруднены и должны были бы вести значительную сухопутную войну. Итак, надобно было стараться всеми средствами остановить такой опасный союз, а для этого надобно было связать скорее Россию, чем Англию, которая жила смирно. Русская государыня услужила нам, завлекшись в предприятие не по силам. Швеция не вступит в союз против Франции и венского двора. Швеция будет сдерживать Данию. Несчастливая Польша терзает сама себя. Русские заняты Портой и Польшей и могут быть своим союзникам только в тягость. Король прусский, который, конечно, хочет войны, чтобы ловить рыбу в мутной воде, не посмеет тронуться, поскольку его сдерживает Австрия. Итак, для нашего союза лучше всего, чтобы турецкая война продолжалась ещё несколько лет с равным успехом для обеих сторон. Пусть они ослабляют друг друга. Если мы выиграем время, всё будет в нашу пользу».

Его плохо слышат. Первые успехи русского оружия в нескольких сражениях с турками только подливают масла в огонь. Иосифу представляется прямо-таки необходимым ввязаться в эту войну, именно ради европейской безопасности и безопасности Франции, которая ради той же европейской безопасности и толкнула Турцию против России, несмотря на то, что Россия никоим образом не угрожает Европе. Он наставляет Кауница, и Кауниц, вопреки желанию Марии Терезии, пишет в Париж:

«К несчастью, турецкая война взяла такой дурной оборот и дает так мало надежды на будущее, что лекарство не уменьшило, а значительно увеличило болезнь и опасность. По всему видно, что будущая кампания не будет благоприятнее для турок и они будут принуждены заключить поспешный мир, поплатившись Азовом, Таганрогом, даже Очаковым и Крымом. Если это случится, то могущество Турции рухнет, а Россия, наоборот, поднимется на степень державы, самой страшной для всех других континентальных держав. Следовательно, страшный риск заключается в продолжении войны между Россией и Турцией. Честолюбивая душа русской императрицы может быть сдержана только страхом опасности, которой она подвергается, если не положит пределов своим обширным планам. Для этого мы собрали в Венгрии и Трансильвании войско, которое сначала не было значительно и представляло только меру, чисто охранительную, но потом мы его достаточно пополнили, чтобы заставить Россию подумать, а в случае нужды и употребить его более серьезным образом».

События превосходят самые худшие ожидания Кауница. Русский фельдмаршал Румянец наносит сокрушительные поражения туркам даже в тех случаях, когда они превосходят русских в пять, в десять раз. Озадаченному Иосифу и осторожному Кауницу приходится отложить подлую мысль о том, чтобы употребить более серьезным образом против русских уже сосредоточенное для нападения австрийское воинство. Кажется, Шуазель хоть на этот счет может свободно вздохнуть: все-таки не придется отправлять на помощь австрийцам ни субсидий, ни французских полков.

Впрочем он не знает покоя. В первых числах ноября в Париже неожиданно-негаданно появляется некий Томатис, итальянский граф, распорядитель придворных зрелищ у польского короля, личность, конечно, сомнительная. Верить такой личности трудно, а не поверить нельзя: уж слишком фантастическим образом вся европейская политика встает вверх ногами и французские интересы отовсюду терпят непоправимый ущерб.

А Томатис уверят в парижских салонах, будто в России, окончательно потеряв головы от внезапных успехов, не то решили, не то ещё только ведут предварительные разговоры о том, чтобы завладеть Азовом, Таганрогом и правом свободной торговли по Черному морю, Молдавию и Валахию отдать русскому ставленнику польскому королю. Ему возражают: как это можно? Разве Австрия и Пруссия согласятся на столь явное беззаконие и произвол? Ещё как согласятся, с хитрым видом отвечает Томатис, ведь австрийцы получают от России ту часть Валахии, которую турки забрали у них по итогам прошедшей войны, и перестанут возражать против того, что пруссаки захватили епископство Вармийское, на которое у них не имеется ни малейшего права.

Разумеется, никаких опровержений или доказательств правдивости столь неожиданных сведений из других источников не поступает, несмотря на то, что агенты Шуазеля исправно трудятся и в Петербурге, и в Варшаве, и в Берлине, и в Вене. Да и какие тут нужны подтверждения? Дальновидный, к тому же изворотливый Шуазель не может не понимать, что корыстный расчет в конце концов непременно сплотит три державы в прочный, едва ли расторгимый союз. Дальнейшее определится само собой. Этот проклятый союз благополучно поделит между собой лоскутную Польшу, затем примется за разбитую в пух и прах, тоже лоскутную Турцию. И это ещё ничего. Рано или поздно разлакомившийся союз новейших грабителей обрушится против Франции, и если не проглотит её целиком, как Польшу и Турцию, то сильно потеснит её на восточных границах. Другими словами, как ни кинь, а Франции о своем первом месте в Европе придется забыть, и забыть навсегда.

И Шуазель, как за соломинку, хватается за материнские чувства Марии Терезии, которая, страшась повредить своей дочери, ещё может удержать необыкновенно прыткого, переменчивого сына Иосифа от сближения с Екатериной и Фридрихом. Именно ему в первую очередь необходимо, чтобы Мария Антуанетта молчала и своим молчанием свалила бесстыдную дю Барри. Победа дофины в этой закулисной игре, падение дю Барри, а через неё поражение короля сделают положение Шуазеля неуязвимым. Тогда он приберет к рукам Марию Терезию, укрепит поколебленные отношения между Францией и Австрийской империей и не позволит ей пойти на соглашение с Россией и Пруссией. Целостность Польши будет сохранена, может быть, и целостность Турции. Франция восстановит свое былое влияние на континенте, станет первой, как прежде, не на словах, а на деле. В сущности, одна Франция останется в выигрыше, а все прочие благополучно окажутся в дураках.

И вновь нетрудно сообразить, что рядом с изворотливым Шуазелем подвизается ещё более изворотливый Пьер Огюстен. Лишь он один способен в непринужденной беседе, шутя и забавляя почтенную публику, подыгрывая на арфе, флейте или виоле, подбросить сладостную идейку тупоумным принцессам и неприметно дергать их за веревочки ровно столько времени, сколько понадобится для достижения поставленной цели. Недаром так часто встречают его в заброшенных покоях у старых дев.

Дю Барри нервничает и злится. Блистательная наложница оказывается в поле зрения юной дофины. Представляется, что Марии Антуанетте уже невозможно не сказать любовнице короля хотя бы несколько обыкновенных, вежливых слов. Однако игра продумана и поставлена хорошо. Тот, кто подбросил сладостную идейку обозленным дочерям короля, заранее знал, что у этой хрупкой, несформировавшейся девочки непреклонное упрямство горделивой австрийской эрцгерцогини, принадлежащей к дому высокомерных, неуступчивых Габсбургов. Мария Антуанетта молчит. Тетушки от неё не отходят и продолжают нашептывать ей о похотливых мерзостях этой безнравственной, этой низменной дю Барри.

Тогда ловкая дю Барри в очередной раз оплетает Людовика. Его доверенные лица доводят до сведения австрийского представителя при французском дворе, что его величество король весьма недоволен столь странным, можно сказать, неприличным поведением юной дофины. Между Парижем и Веной завязывается интенсивная переписка. Мария Терезия, обеспокоен-

ная положением дочери, намекает ей в письмах, что иногда можно и заведомой шлюхе доброе слово сказать, но гордая Мария Антуанетта не понимает прикровенных материнских намеков, да и лихие тетушки на страже стоят и не позволяют ей эти намеки понять. Наконец сплетается многоходовая интрига, которая принудит Марию Антуанетту заговорить. Ждет Иосиф, ждет Мария Терезия, ждет король, ждет весь увлеченный представлением двор. Увешанная драгоценностями, как ювелирная лавка, дю Барри каменеет у неё на пути. Мария Антуанетта уже поневоле приближается к ней. Она уже готовится, смиряя гордыню, разлепить плотно сжатые тонкие губы. Вдруг откуда ни возьмись между дофиной и шлюхой врывается Аделаида и за руку уводит послушную Марию Антуанетту к себе и проделывает это так внезапно, так кстати, что нельзя не подумать, что кто-то более заинтересованный, более проницательный в нужный момент вытолкнул старую деву из-за кулис.

Как бы там ни было, Мария Антуанетта молчит полтора года подряд. Правда, нетерпеливый Иосиф, уверенный в том, что сестрица в Париже наконец выдавит из себя несколько слов, в первых числах января 1771 года отдает приказ, и его войска занимают два приграничные округа, принадлежащие Польше. Австрийские немцы ни с того ни с сего получают около пятисот деревень и богатейшие соляные копи Велички и Бохни, на том замечательном основании, что когда-то давно, в 1412 году, всего-то на всего триста пятьдесят лет назад, эти земли отошли к Польше от Венгрии.

Захват явным образом служит сигналом к разделу. Ненасытный прусский король злобно потирает руки и улыбается. Ах вот оно как! В 1412 году? А у нас нынче, в 1770 году, в южной Польше свирепствует моровое поветрие. Так что же нам на это такое безобразие сложа руки смотреть? Никак нет! И Пруссия оккупирует приграничные польские земли, именуя эту бандитскую операцию созданием санитарного пояса, единственно ради защиты немецкого населения от возможной заразы.

В сущности, это прямой вызов России. Она должна защитить свои интересы и по меньшей мере ввести свои войска на те польские территории, на которых проживают бывшие русские, превратившиеся под польско-литовским гнетом в малороссов и белорусов. Немка Екатерина с той же алчностью стремится к захватам, как прусский Фридрих и австрийский Иосиф. К счастью, внешней политикой Российской империи всё ещё ведаёт Никита Иванович Панин. Ему удается убедить государыню, что польский вопрос сам собой решается громкой и грозной победой в навязанной турецкой войне. Потеряв могущественного союзника в лице Турции, стиснутая немцами с юга и с запада, под угрозой потери всех южных и западных областей, Польша естественно превратится в союзника и друга России. Именно такую Польшу, союзницу, друга, России выгодно сохранить. Он уговаривает, чтобы образумить и отрезвить Фридриха и Иосифа, заявить, что в случае победы над Турцией она готова отказаться от чужих территорий, и Екатерина обращается к Фридриху:

«Я не требую никаких приобретений для моей империи. Обе Кабарды и Азовский округ принадлежат, бесспорно, России. Они так же мало увеличат её могущество, как мало уменьшили его, когда из них сделали границу. Через возвращение своей собственности Россия выигрывает только то, что пограничные подданные её не будут подвергаться воровству и разбою, что стада их будут пастись спокойно. Свободное плавание по Черному морю есть такое условие, которое необходимо при существовании мира между народами. Россия согласилась на это ограничение, уступила варварским предрассудкам Порты из любви к миру, но этот мир нарушен с презрением всех обстоятельств. Если я имею право на какое-нибудь вознаграждение за войну, столь несправедливую, то, конечно, не здесь я могу и должна его найти. Я могла бы быть вознаграждена уступкой Молдавии и Валахии, но я откажусь и от этого вознаграждения, если предпочтут сделать эти два княжества независимыми. Этим я доказываю свою умеренность и свое бескорыстие, этим я объявляю, что ищу только удаления всякой причины к возбуждению войны с Портой...»

Интересы тут разные, прямо противоположные, однако Никита Иванович Панин точно так же пытается в Петербурге предотвратить раздел Польши, как в Париже это пытаются сделать Шуазель и Пьер Огюстен. И Мария Антуанетта продолжает молчать, а перепуганная Мария Терезия продолжает останавливать нетерпеливого сына, прусский король вынужден топтаться на месте, и раздел приходится отложить.

И чем дольше Мария Антуанетта молчит, тем с большей энергией любящая мать запрещает сыну войти в сговор с Россией и Пруссией для полюбовного расчленения соседней страны. Больше того, чем она дольше молчит, тем прочнее положение Франции в международных делах, но, в то же время, чем она дольше молчит, тем большая опасность нависает над Шуазелем и его изобретательным сотоварищем Пьером Огюстеном Кароном де Бомарше.

## Глава тринадцатая

### Внезапный удар

Между тем и без этой очевидной угрозы Пьеру Огюстену приходится туго. На него черной тучей надвигается печальное время тяжелых утрат.

Прежде всего, посреди событий, толков и придворных интриг, семнадцатого июля 1770 года, тихо и неприметно покидает грешную землю Пари дю Верне. Он оставляет своим недостойным наследникам полтора миллиона ливров наличными и большую недвижимость, а Пьера Огюстена лишает своих умнейших советов, своей нежной и преданной дружбы и надежнейшего компаньонства в делах. Пьер Огюстен, что понятно само собой, не может не скорбеть об ушедшем друге и покровителе, однако его сердечная боль ни в памяти людей, его окружающих, ни тем более на бумаге не оставляет следа, к тому же его боль слишком скоро растворяется в семейных несчастьях.

Опаленный жаждой отцовства, Пьер Огюстен старается изо всех сил, не соизмеряя своей потребности в куче детей с возможностями жены, которой и первый ребенок дается с немалым трудом, так как Женевьев Мадлен, как ни странно, тоже не отличается крепким здоровьем, как и первая жена Мадлен Катрин. В результате вторая беременность внезапно прерывается выкидышем. Женевьев Мадлен ложится в постель. Один за другим её осматривают знаменитые парижские доктора и приходят к печальному выводу: болезнь затяжная, со смертельным исходом, скорее всего. Должно быть, чахотка, как и в тот раз, больную невозможно и нечем лечить. Единственно ради того, чтобы смягчить душераздирающий кашель и поубавить телесные муки больной, её пичкают отваром из мака, и под воздействием его чар она много спит или находится в полусне.

От бесконечной любви к ней, от малодушного страха её потерять Пьер Огюстен сам впадает в состояние помешательства, хотя и сохраняет полную ясность ума. Он не отходит от постели горячо любимой жены, он заботится и хлопочет о ней, он не желает её покидать даже ночью и ложится рядом с ней в ту же постель, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому вздоху и стону.

Отец и сестры приходят в отчаяние, изо дня в день наблюдая такого рода безумие. Все страшатся, что он заразится, тоже подхватит эту наводящую ужас болезнь и сойдет в могилу следом за ней, чего в эти тяжкие дни он, может быть, действительно жаждет больше всего. Родные бросаются к лечащему врачу. К счастью, доктор Троншен оказывается опытным и разумным психологом. Однажды явившись ранним утром к больной, застав рядом с ней спящего мужа, лечащий врач осыпает страдающего супруга упреками будто за то, что он невнимателен к страждущей женщине, которая терпит адские муки из страха его разбудить, не смея кашлянуть, пожаловаться или лишний раз повернуться.

Видимо, Пьер Огюстен всё же догадывается, чьих рук это дело, но уступает, впрочем, уступает только наполовину: для него в спальню жены ставят вторую кровать, и он по-прежнему не отходит от больной ни на шаг.

Разумеется, никакая преданность мужа не может спасти от чахотки. Женевьев Мадлен умирает четырнадцатого декабря 1770 года, причем и на этот раз он теряет всё её состояние, обращенное в пожизненную ренту по её, а может быть, и по его настоянию, чтобы избежать кривотолков, чуть было не погубивших его после кончины первой жены.

На него обрушивается страшный удар, потеря невосполнимая для того, кто имел счастье любить, а ведь он любил сильно и страстно, поскольку все его чувства всегда превращаются в страсть, и был при этом тихо, верно и нежно любим.

Одного такого удара бывает довольно, чтобы свалить с ног и надолго выбить из колеи, и Пьер Огюстен действительно тяжело страдает, не находя себе места в опустевшем, полном чер-

нейшей печали особняке. В течение полугода он теряет старого друга, надежного компаньона, своего милейшего Крошку и следом за ним друга сердца, добродетельную супругу, на которую наглядеться, надышаться не мог. Чего же еще?!

Однако судьба внезапно бросается на него, точно жаждет его растоптать. За прямыми ударами следует боковой, едва ли не более сильный, чем первые два.

Уже триста лет французский парламент, как в этой стране именуется суд, противостоит королям, далеко не всегда и не сразу утверждая королевские акты, если королевские акты наносят ущерб государству или отнимают у граждан права. И надо же так мудрено сойтись обстоятельствам, чтобы вековое противоборство короля и парламента закончилось катастрофой в те самые дни, когда Пьер Огюстен погружается в траур.

Все туго завязанные узлы точно ждут, когда их разрубит хищная рука дю Барри. Кажется, какое дело торжествующей потаскухе до раздоров короля и парламента? В сущности, никакого дела ей до этого нет. Всплыв со дна жизни, она, как все выскочки во веки веков, озабочена только обогащением, а деньги текут к ней рекой. Стало быть, плевала она на парламент. Загвоздка лишь в том, что Мария Антуанетта молчит и что парламент, может быть, ободряемый этим молчанием, откровенно плюет на неё. Парижские судьи, в общем малопочтенные и глубоко продажные люди, встают на дыбы, когда окончательно утративший волю король в очередной раз представляет на утверждение парламента акт о новых налогах, потому что уже все во Франции понимают прекрасно, кто с такой исключительной жадностью систематически опустошает казну и в чей кошелек бесследно провалится и этот новый налог. Всякий раз с утверждением актов этого рода возникает заминка, которая доводит обнаглевшую потаскуху до бешенства и ставит в весьма щекотливое положение короля.

В эти игры король и парламент увлеченно играют уже полстолетия и в конце концов всегда соглашаются на компромисс, так что и король получает свое и парламент продолжает слыть среди бессовестно обобранных подданных главой оппозиции, и такой результат весьма приятен обоим.

Однако чем упорней молчит прекрасная дофина Мария Антуанетта, тем с большим рвением оттесняемая со своих неприступных позиций наложница короля стремится восстановить свое пошатнувшееся положение в глазах всех, прежде всего, как положено, в глазах придворных просителей и лизоблюдов, наглядно им показав, кто остается полновластной хозяйкой в Версале, в Париже, во всем королевстве.

На этот раз она не признает никаких компромиссов. Своим упорством она заявляет, что в этой стране её воля закон, если она может вертеть королем, как захочет, тем более, что за упорством парламента ей мнится всё тот же изворотливый министр Шуазель, люто ненавидимый ею. Она твердит расслабленному Людовику, что он великий король, затем тащит убежденного сединами в свою раздушенную постель, где окончательно убеждает его в своей правоте неувыдающим искусством, отшлифованным в самых грязных притонах Парижа, и наконец добивается своего. Третьего декабря 1770 года хорошо разогретый Людовик направляет в парламент грозный эдикт:

«Наша корона дарована нам самим Богом! Право издавать законы, которыми наши подданные могут быть руководимы и управляемы, принадлежит нам, только нам, независимо и безраздельно...»

Ах, шлюха! Ах, дю Барри! Потрудилась на славу! Вы только представьте себе: внезапно вспоминает о Боге старый прохвост, давно позабывший о власти Всевышнего, позабывший имена множества шлюх, разнообразно служивших ему, за свою долгую жизнь развративший не то шесть, не то семь тысяч девочек, от десяти до двенадцати лет!

Разумеется, парижский парламент не сомневается, из какой грязной лужи гремит этот праведный гнев. Он не утверждает эдикта, не без тайной поддержки, конечно, которую дей-

ствительно оказывает колеблемому ветром парламенту Шуазель, не упускающий случая если не свалить, то хотя бы приструнить отбившуюся от рук потаскуху.

Но уже дю Барри не знает преград. Мария Антуанетта молчит, и проиграй она эту важнейшую битву, за ходом которой пристально следит множество глаз, и для неё наступит конец. Она прибегает к отчаянным мерам, и двадцать четвертого декабря Людовик XV вызывает к себе в кабинет Шуазеля, говорят, у короля дрожит подбородок и язык заплетается, когда он предлагает отставку самому способному, может быть, выдающемуся министру. Шуазель ещё может пойти на поклон к дю Барри и вернуть свое положение в кабинете министров, но этот государственный человек, столько лет самостоятельно определявший политику Франции, слишком горд, чтобы служить этой шлюхе шутком, к тому же Мария Антуанетта молчит, и Шуазель предпочитает уйти.

Вскоре на его место приходит глупец д'Эгийон, ставленник и клевет дю Барри, однако пока Мария Антуанетта молчит, никакой д'Эгийон не испортит положение Франции, Австрия не посмеет расширить захваты и присоединиться к России и Пруссии, тройственный союз не состоится, Польша не будет растащена на куски.

Даже потеряв таким образом в лице Шуазеля почти всемогущего покровителя и союзника, внезапно восплавывший героическим духом парижский парламент продолжает сопротивление, слишком уж всем омерзела эта наглая шлюха. Тогда, получив очередную порцию усиленных ласк, Людовик XV разгоняет непокорный парламент, а новый парламент поручает составить пройдохе Мопу, другому ставленнику и клевету пронырливой дю Барри, о котором однажды оставшийся без надлежащего надзора король изъясняется приблизительно так:

– Конечно, мой канцлер мерзавец, но что бы делал я без него!

Бедный Пьер Огюстен! И он в лице Шуазеля не только теряет надежного покровителя и компаньона по многим тайным делам, нити которых теряются в плотном мраке закулисной истории. В лице дурака д'Эгийона и мерзавца Мопу он ещё приобретает злейших врагов! Приходится подчеркнуть, что в течение нескольких дней он почти полностью теряет свое положение, поскольку отныне у него про запас остаются только принцессы, роль которых при дворе отчасти смешна, отчасти жалка. Вместе с Шуазелем и ему приходится отстраниться от больших государственных дел, без которых уже сама жизнь представляется ему бесцветной и пресной. В сущности, отныне ему нечем и незачем жить.

Конечно, у него ещё остается коммерция. Связи, которыми он обзаводится благодаря покойному Пари дю Верне, огромны и прочны. Он продолжает свои операции, его состояние приумножается день ото дня, даже если бы этого он не хотел, однако никакая коммерция, никакое обогащение больше серьезно не согревает его. С утратой Пари дю Верне и Женевиев Мадлен, с отставкой умницы Шуазеля радость жизни покидает его. Он не у дел, а это означает, что более он не живет.

Как неприкаянный бродит он по своим опустевшим хоромам, без всякого дела слоняется по своему кабинету, это он, кто всегда по самое горло в неотложных, изобретательно спланированных делах! О чем думает он? Что замышляет? Этого сказать не может никто.

Однажды в его дверь стучится малодаровитый поэт Гюден де ла Бренельри и смиренно испрашивает разрешения прочитать свою эпическую поэму «Наплиаду». Всегда открытый, отзывчивый даже в дни горя, Пьер Огюстен милостиво дает разрешение. Они усаживаются. Гюден де ла Бренельри заунывно декламирует свою несусветную дичь, сочиненную гроыхающим и скрипящим александрийским стихом. Я полагаю, в кабинет беззвучно вползает тоска и душит хозяина чуть не до смерти, точно в наказание за то, что и сам он что-то когда-то почти так же малоудачно писал.

Положение более чем щекотливое. Пьер Огюстен, натура широкая, всё же находится и кое-как смягчает удар, предлагает поэту вместе с ним отобедать чем бог послал, затем оставляет симпатичного бедолагу на ужин, после которого безвестный, по каким-то причинам

назвавшийся поэтом Гюден де ла Бренельри навсегда поселяется в его доме и даже входит в историю в качестве его летописца.

Как знать, может быть, его скрипящие и хромающие стихи наводят Пьера Огюстена на размышление, может быть, на размышление наводит слишком уж непривычный досуг. Как бы там ни было, он не может не припомнить свои несчастливые пьесы. Отчего так непоправимо и дружно провалились они? Была ли это неприветливая случайность? Явилась ли неудача законным следствием злокозненной мести литературных врагов? Сам ли он кругом виноват, вступив на неверный, не ему предназначенный путь?

Великий и бездарный писатели мыслят очень по-разному. У бездарного борзописца в его провалах и неудачах вечно кто-нибудь другой виноват, темное время, цензура или козни властей. Великий всегда обнаруживает, что сам оплошал, даже если оплошность довольно мала, а в провалах и неудачах в самом деле виноваты другие, именно это самое темное время, цензура или козни властей.

Сколько времени тянутся эти малоприятные размышления, нам неизвестно. Доподлинно известно только одно: Пьер Огюстен в результате находит, что единственно сам кругом виноват. Вскоре он таким образом истолкует свои заблуждения:

«Ах, ещё ни один писатель так не нуждался в снисходительном отношении, как я! Тщетно стал бы я это скрывать. Когда-то я имел неосторожность в разное время предложить вашему вниманию, милостивый государь, две печальные пьесы, два, как известно, чудовищных произведения, ибо теперь уже для всех ясно, что нечто среднее между трагедией и комедией не должно существовать. Это вопрос решенный, все, от мала до велика, об этом твердят. В этом я убежден. Если бы я сейчас захотел вывести на сцену неутешную мать, обманутую супругу, безрассудную сестру, сына, лишённого наследства, и в благопристойном виде представить их публике, я бы прежде всего придумал для них дивное королевство на каком-нибудь архипелаге или в каком-либо другом уголке мира, где бы они царствовали, как душе их угодно. В таком случае я был бы уверен, что мне не только не поставят в упрек неправдоподобие интриги, невероятность событий, ходульность характеров, необъятность идей и напыщенность слога, но, напротив, именно это мне и обеспечит успех...»

В самом деле, из противозаконного альянса трагедии и комедии редко вытанцовывается что-нибудь путное. В этом ублюдочном жанре мировая сцена насчитывает до смешного мало серьезных удач. Набив себе на этом неблагодарном поприще две болезненно-обидные шишки, Пьер Огюстен на этот раз отказывается от соблазна набить себе третью, с него довольно и двух, он ведь неглуп. С другой стороны, трагедия окончательно разочаровывает его. Ему даже начинает казаться в пылу низвержения прежних кумиров, что трагедия не имеет права существовать. Несчастные короли? Боже мой, что за бред! Достаточно полюбоваться на разъеденного пороком короля Людовика XV Бурбона, с такой глупой доверчивостью и самомнением передавшего всю исполнительную и законодательную власть в королевстве истасканной шлюхе, взятой им напрямиком из публичного дома. Разве это трагедия? Едва ли даже комедия. Скорее сатира. На посмешище его, на всеобщий позор!

Для реализации его нового взгляда на сущность искусства Пьеру Огюстену остается только комедия. Роль архипелага, который своей экзотической обстановкой поскрасит шероховатость слога и выдумки, прекрасно сыграет Испания, которую он изучил вполне достаточно для того, чтобы приплести к интриге несколько местных подробностей. В конце концов, Франция ли, Испания ли, разница невелика, поскольку человек везде человек, а Пьер Огюстен страсть как тоскует о человеке, по самое горло наглядевшись на препакодную жизнь королей. Дело за характерами, событиями, интригой, а в придачу, как он не может не понимать, необходима необъятность идей. А где её взять?

Приходится преднамеренно отметить тот факт, что необъятность идей пока что не обременяет его, и все-таки, должно быть, от нечего делать, в его душе внезапно пробуждается

склонность к чистому, то есть к бесцельному творчеству. Его тянет к перу. Нет, не наставлять, не учить, не мстить никому, не отвесить публично затрещину кому-то из тех, кто обидел лично его, не ввинтить со сцены веское слово в политическую игру, в которой он участвует более интересными и верными способами. Просто хочется выдумывать, сочинять, изобретать, выплескивать каламбуры и шутки, острить и смешить, самому посмеяться позабавить себя, ведь на душе у него тяжело, в свою очередь, что-нибудь почитать почтительно внимающему Гюдену де ла Бренельри.

По счастью, в его бумагах желтеет и покрывается пылью небольшая и довольно пустая вещичка, парад, как такого рода забавы именуется на жаргоне вечно скучающих светских людей, у которых всё не на месте, даже слова. В этом веселом параде избитый, совершенно затертый сюжет. Этот сюжет разыгрывали несчетное множество раз испанский, итальянский, а следом за этими соседними сценами и переимчивый французский театр. Скупой старик, молодая прелестница, юный влюбленный, ловкий слуга. В каком смешном виде, в каких вариациях, в каких сочетаниях эти ходульные персонажи только не выносились на сцену! Во всех видах, во всех вариациях, во всех сочетаниях. Все изумительные и забавные следствия из совместного проживания этих четырех персонажей уже были придуманы, решительно всё известно давно. Что-нибудь новое, небывалое, необычайное в состоянии выжать лишь истинный гений, да где же гений-то взять? Гений – не расхожий товар, ни за какие деньги столь славную вещь не купить! Гениальность вырабатывается слишком немногими, к тому же и этих немногих осеняет далеко не всякий день, не всякий год. Загадочная, непостижимая вещь!

Любопытно отметить, что Пьер Огюстен абсолютно не создан для чистого, бесцельного, хладнокровного творчества, к которому обращается время от времени, когда в его бурной жизни случается, как на грех, передышка, томительная, невыносимая, несносная для него. В эти пустые дни и часы непреднамеренной передышки его фантазия точно связана по рукам и ногам. Его способность к изобретению смехотворно слаба. Всё, что он может придумать в спокойном состоянии духа, это из случайной пожелтевшей вещички, сымпровизированной им для забавы, для развлечения самого тесного круга близких друзей, состряпать комическую оперу, некий музыкальный аттракцион, напичканный до отказа куплетами, наподобие тех, какой позднее в «Севильском цирюльнике» сочинит Фигаро, что-нибудь о вине и о лени.

Впрочем, никакие трудности его не страшат. Он берется за всё, и, кажется, решительно всё ему по плечу. Стихи он сочиняет, разумеется, много лучше, чем обиженный истинным дарованием Гюден де ла Бренельри, хотя и не так хорошо, как Корнель и Расин. К тому же он музыкален, превосходно играет на всех инструментах, прекрасно импровизирует, сочиняет на случай, что-нибудь легкое, на какой-нибудь уличный или модный мотив.

Так что и комическая опера из его сноровистых рук выходит совсем недурна, а Гюден де ла Бренельри, вероятно, и вовсе от неё приходит в телячий восторг, за что его, без сомнения, можно простить.

И все-таки в этой скоропалительной комической опере не слышится творческой силы, не видится блеска таланта, не обнаруживается ничего из того, чем отличается истинный гений. Неплохая побелка, не больше того. Живая, беззаботная, ловко скроенная мешанина из плащей и свиданий, интермедий и опереточных выходов, плясок и серенад. Всё, что ему в ней действительно удастся, так это предчувствовать жанр, который скоро родится и в победном шествии завоюет все европейские сцен, сначала в несколько скованной музыке Паэзиелло, затем в живительных мелодиях блистательного Россини.

Возможно, это верное предчувствие нового жанра, подкрепленное восторженными похвалами верного и наивного Гюдена де ла Бренельри, побуждает его отнести свое неожиданное и своеобразное детище в Итальянскую оперу, имеющую в Париже громадный успех. Чует ли дирекция, как и он, рождение нового жанра, вечная ли потребность в обновлении репертуара, наскучившего раздушенной публике, жаждущей каждый день новизны, неизвестно, что

именно пробуждает её от дремотного сна. Точно известно, что по каким-то темным соображениям дирекция склоняется принять благоприятное для автора, всегда желаемое решение: поставить оную комическую оперу Пьера Огюстена Карона де Бомарше. Если при этом учесть, что не так уж давно некая драма того же лица провалилась со скандалом и под остервенелую брань всех театральных обозревателей и знатоков, необходимо признать, что дирекция ведет себя в этом деле мужественно и не совсем дальновидно. Тем не менее, с комической оперой знакомится труппа, делаются кое-какие прикидки, подбираются некоторое время спуска к репетициям. Автор воодушевляется от созерцания действий и перспектив и, само собой разумеется, находится в гуще событий. Возможно, он, как все счастливые авторы, уже чувствует долгожданный и несомненный успех.

Однако что-то уж слишком сурово глядит на него в те трудные месяцы не дремлющая над нами судьба. Наступает какая-то непроницаемой черноты полоса. Удача на всех поприщах предательски покидает его. Самый модный, действительно сильный певец, об участии которого в означенной комической опере можно только мечтать, вдруг встает на дыбы и наотрез отказывается выйти на сцену в образе Фигаро. В театре переполох. Никто ничего не в силах понять. Наконец просачивается из-под руки, что великий певец сам начинал свое поприще в презренной цирюльне и не желает теперь, чтобы публика узнала об этом сальном пятне его позднее блистательной биографии. Я полагаю, Пьер Огюстен только рот разинул и руками развел. В самом деле, глупость непроходимая. Однако известно, именно непроходимой глупостью держится мир. Благодаря этой непередаваемой чертовщине Пьер Огюстен отказывается от постановки своей скороспелой комической оперы, явно далекой от гениальности, и тем «Севильский цирюльник» внезапно спасется для великого будущего.

Естественно, непроницаемой черноты полоса невезения на этой феноменальной глупости не обрывается. За кулисами, насыщая своей неумемной энергией вяло текущие репетиции, Пьер Огюстен сводит знакомство с малодаровитой певичкой Менар, бывшей цветочницей, дешевой торговкой с парижских бульваров, женщиной изумительной красоты и не менее изумительной глупости. Благодаря красоте её не только приглашают в театр, но и в кое-какие салоны, а затем даже в Версаль, куда её, по некоторым сведениям, привозит неустрашимый распутник герцог де Ришелье, тогда как вследствие изумительной глупости на сцене не поручают ничего более сложного, чем легонькие куплетцы, которыми, по тогдашней моде, оканчивается каждый спектакль.

Благодаря своей исключительной красоте неудачливая певичка Менар всегда окружена богатыми, изысканными, блестящими кавалерами, в рядах которых довольно твердо называют Мармонтеля, Шамфора, Седена, людей хоть и распущенных, как полагается в том основательно развращенном столетии, но всё же достойных и не без вкуса. Только её непроходимой глупостью можно объяснить и тот драматический факт, что она влюбляется в самого невозможного из своих кавалеров, в подлинное чудовище, от которого к тому же имеет ребенка. Этот самый невозможный из кавалеров постоянно колотит её, и она от его бешеного садизма то и дело укрывается в монастыре, благодаря протекции своего доброго исповедника аббата Дюге. Тем не менее, что вообще не укладывается в уме, этому-то чудовищу неудачливая певичка Менар остается неизменно верна.

Вряд ли может кого удивить, что Пьер Огюстен обращает внимание на молодую женщину изумительной красоты, однако на что именно он обращает особенное внимание и до какой черты доходят их отношения, все-таки остается загадкой. Известно, что очень скоро он становится поверенным всех её тайн, что при её изумительной глупости представляется совершенно естественным. Чуть ли не его в первую очередь она посвящает во все тягостные перипетии своего бестолкового, опасного для жизни романа, после чего он то ли из любопытства проявляет инициативу, то ли она в надежде на помощь этого решительно на всё способного человека сводит их вместе, знакомится с её буйным, часто впадающим в безудержный гнев кавалером.

Этим кавалером оказывается молодой человек с довольно длинным именем и с длиннейшей фамилией, которая говорит о почтенной древности рода: Мари Луи Жозеф д'Альбер д'Айи видам Амьенский герцог де Пекиньи герцог де Шон, прямой потомок де Люиня с отцовской стороны.

При ближайшем знакомстве могучий отпрыск знатнейшей французской фамилии, от одних титулов которого с непривычки может кругом пойти голова, оказывается банальной жертвой несчастной наследственности. Его отец, старинный аристократ, по легкомыслию или необходимости, вступает в законный брак с девицей Бонье, дочерью одного из богатейших французских торговцев. Он, таким образом, на свой страх и риск предпринимает нечто вроде попытки слияния двух главнейших сословий, которые находятся в давней вражде, неизбежной между паразитом и тружеником. По этому поводу его мать составляет довольно грубый и мало смешной каламбур, что-то о том, что доброй земле, мол, нужен навоз. Может быть, каламбур выходит оттого особенно нехорош, что бабка того, кто является неизбежным следствием этого брака, глубоко заблуждается. Никакого удобрения не обнаруживается в девице Бонье. Густая мужицкая кровь ни под каким видом не желает сливаться в единый поток с разжиженной, гнивающей голубой полукровью-полуводицей. В бедной душе Мари Луи Жозефа де Шона обитают два человека, и оба находятся в постоянной, непримиримой вражде, точно сцепились кошка с собакой. С одной стороны, он, подобно тихому скромному благовоспитанному отцу, склонен к серьезным наукам, его аналитический ум жаждет проникнуть в сокровенные тайны природы. В его бедной душе это такая сильная страсть, что время от времени герцог де Шон предпринимает опасные для его жизни эксперименты, вроде испытания на себе полученного химическим путем препарата, который будто бы спасает от печного угара. С другой стороны, он, подобно матери, бывшей девице Бонье, женщине склочной, скандальной, невменяемой по временам, едва оторвавшись от усердных научных трудов, точно срывается с цепи. Он скандалит, буйствует, сквернословит, раздает оплеухи, колотит любовниц и ведет грязный процесс против собственной матери.

Легко догадаться, какой это клад для такого неисправимого наблюдателя страстей человеческих, каким всё больше оказывается несравненный Пьер Огюстен. Он не только знакомится, он сблизается, он тесно сходится с этим неуравновешенным, необузданным отпрыском аристократии и плебейства, от которого в любую минуту можно ждать самой грубой, самой отвратительной пакости. Они вместе появляются в обществе. Там их неизменно встречают и сопровождают смехом и шутками. Возможно, объясняется это легко. Подобно нескладным родителям герцога, они нисколько не подходят друг к другу. Один – худощавый, среднего роста, обаятельный, остроумный, изящный, невольно, без малейших усилий со своей стороны покоряющий всех. Другой – верзила гигантского роста, ненаходчивый, скованный, бесцеремонный, с тяжелыми кулачищами, с вечной угрозой что-нибудь разломать или из кого-нибудь вышибить дух.

Пьер Огюстен покушается и на большее. Выбрав наиболее подходящий момент, в редкую минуту затишья, когда Мари Луи Жозеф де Шон способен его понимать, он деликатно, однако со всей основательностью своего глубоко аналитического ума наставляет буйного герцога. Он обучает варвара человечности. В эту каменистую душу он бросает благие семена просвещенной чувствительности, воспринятой им от английского писателя Ричардсона. Любящих женщин он советует привязывать к себе не затрещинами и разнузданной бранью, а любезным вниманием, предупредительностью, деликатностью обхождения, другими словами, неуклюжему гибриду аристократической утонченности и мужицкого хамства преподает небольшую, но крайне полезный курс обольщения.

И так велико, так неотразимо его обаяние, что ему удается на некоторое время усмирить злого демона. Герцог де Шон перестает кидаться с кулаками на беззащитную женщину, и влюбленной Менар достаются минуты, быть может, даже часы и целые дни безмятежного счастья.

Посреди этих мелких повседневных занятий и человеколюбивых забот, сочинения легкой музыки и ещё более легких куплетов, треволнений с театром и возвращения в свет понемногу смягчается терпкая горечь невозвратимой утраты. Жизнь Пьера Огюстена как будто направляется в мирную гавань, необходимую для оздоровления и возрождения его потрясенного духа.

Вдруг, точно с неба упав, на сцену жизни взгромождается никому не нужный, давно забытый граф де Лаблаш. Подозрительно уже то, что на графе роскошный новый мундир: представьте себе, он только что произведен в генералы, причем его заслуги перед французской армией до сей поры остаются невыясненными. Чего доброго, этого неприметного, неродовитого графа вот-вот сделают английским послом.

Ещё более подозрительно то, что довольно долгое время граф пребывал в неизвестности, хотя довольно давно через нотариуса мэтра Момме получил известные акты, составленные Пьером Огюстен и Пари дю Верне. В прямом согласии с этими актами граф де Лаблаш, как наследник, обязан вернуть компаньону покойного дедушки смехотворную сумму, каких-то пятнадцать тысяч парижских ливров, что в сравнении с только что заприходованными миллионами в недвижимом имуществе и наличными суший пустяк.

Так вот, вместо того, чтобы добросовестно исполнить последнюю волю своего примерно щедрого благодетеля и приказать своему банкиру, который теперь у него появился, оплатить этот мизерный счет, сомнительный граф и новоявленный генерал объявляет документ недействительным и наотрез отказывается платить. Больше того, сомнительный граф и новоявленный генерал объявляет во всех гостиных и на всех перекрестках Парижа, что скорее потратит сотни тысяч на то, чтобы доказать очевидную для него подложность этого подлого документа, чем заплатит этому негодяю хотя бы ломаный грош. Поистине, что-то перевернулось в голове сомнительного графа и новоявленного генерала. Именно негодяем ни с того ни с сего он начинает именовать самого доверенного из компаньонов своего покойного дедушки, тогда как прежде, в течение приблизительно десяти лет, не смел произнести в его адрес ни единого сколько-нибудь не то что бы оскорбительного, а даже просто неделикатного слова.

Что с ним стряслось? Отчего вдруг взбесился прежде вполне скромный, малозначительный человек, ровно ничем, ни худым, ни хорошим, не возвестивший о себе парижскому обществу, не зарекомендовавший себя ни чрезмерным сквалыгой, ни беспокойным, всюду сующимся забиякой, ни тем более явным безумцем, каким время от времени на весь белый свет рекомендует себя сорвавшийся с цепи герцог де Шон? Из каких побуждений он жаждет погубить честь человека, который решительно ничем его не задел, не сделал худого, даже ни разу в его сторону не чихнул?

Это происшествие так и остается нераскрытой загадкой.

Многие пытались её разгадать, но, как ни бились, не пришли ни к чему такому, что могло бы хоть что-нибудь объяснить. В общем, все в конце концов сходятся на одном: сомнительным графом и новоявленным генералом вдруг овладела безумная, беспричинная ненависть. Чтобы объяснение было хотя бы внешне логичным, предполагается, будто этот сомнительный граф и новоявленный генерал был человеком дьявольского коварства. После такого предположения его легко превращают в дух зла, в исчадие ада, чуть ли не в какую-то мистическую фигуру, в нечто сродни Мефистофелю, к тому времени ещё не придуманному пророческим гением Иоганна Вольфганга Гете.

Конечно, можно допустить и беспричинную ненависть, и дьявольскую натуру, и мистику, а при желании даже исчадие ада. Чего, в самом деле, не бывает на свете! Только во всем этом высокопарно закрученном вздоре ни малейшей логики нет. Все-таки по-прежнему нельзя не спросить, отчего ни до этого происшествия с неоплаченным векселем, ни после него в душе вполне бездарного графа и самого мирного в истории войн генерала не пробуждалось никаких дьявольских сил? Отчего никто другой никогда и ни при каких обстоятельствах не оказывался

жертвой его клеветы? Отчего единственно единственной этой грязной историей украшается его беспросветно скучная биография, ни для кого не представляющая своим пустым содержанием даже самого скромного интереса?

Ничего подобного не приключается с графом и генералом ни прежде, ни после препакостной истории с векселем. Это исключительной достоверности обстоятельство не может не означать, что в однообразной душе графа и генерала, какой она явилась на свет, не заключалось никаких мистических или дьявольских сил. Таким образом, нетрудно предположить, что бедный граф и генерал только на это короткое время, пока он тщится опорочить благородное имя Пьера Огюстена Карона де Бомарше, становится марионеткой, жалкой игрушкой в чьих-то более заинтересованных и искусных руках.

Остается установить, кому принадлежат эти заинтересованные и искусные руки. И тут поневоле возникает вопрос, каким образом ничтожный граф, не имеющий родословной, ни с того ни с сего превращается в генерала? Положим, никакое ничтожество и даже прямое отсутствие всяких признаков личности ещё никому не помешало купить или выхлопотать себе чин генерала, даже фельдмаршала, это уж рок. Однако в том-то и дело, что ничтожество без малейших признаков личности превращается в генерала или фельдмаршала не само по себе, а с чьей-нибудь сильной помощью, в обмен на оказанные услуги имеющим власть превращать ничтожество в генерала или фельдмаршала.

В те годы ни одна нить на эполете королевского офицера не прибавляется без ведома всевластной мадам дю Барри, ни одно повышение не совершается без прямого её указания или без ведома и подписи короля. Разница не велика, ведь неугомонная шлюха умеет-таки шепнуть выжившему из ума повелителю Франции нужное словечко во время обеда или в постели.

Стало быть, если исходить из этого общеизвестного обстоятельства, с нашей стороны не будет большой ошибкой предположить, что о генеральском чине для плюгавого графа Лаблаша похлопотала тоже она, графиня Жанн Мари дю Барри, бывшая девица Бекю.

Но отчего, но чем этот далекий от неё, невыразительный человек ей угодил, какие услуги ей оказал? Не подвернулся ли просто-напросто под руку это глупец, этот напыщенный фанфарон в нужный момент, когда вдруг обозначилась благодатная возможность через него отомстить?

В самом деле, могла ли случайная графиня Жанн Мари дю Барри навсегда позабыть ту забавную арифметику, которую смекалистый Пьер Огюстен однажды преподнес королю устами наивного герцога де Лавальера, в надежде закрыть перед ней и без того до крайности истощенную, вовсе не бездонную, большую хроническим дефицитом казну? Могла ли улетучиться из её мстительной памяти его неприятная близость к покоям принцесс, в которых с его непридуманной подачи сплетались интриги против её бесконтрольного влияния на короля, так что, выгори эти интриги, девице Бекю никогда бы не стать дю Барри, всемогущей, всевластной, подлинной владычицей Франции? Могла ли она, только что сместившая самого Шуазеля, не знать или, на худой конец, не догадываться, кто совместно с министрами усердно трудился против неё? Могла ли она не метать громы и молнии, поскольку молоденькая Мария Антуанетта, науськанная и поддержанная несамостоятельными принцессами, продолжает молчать и своим ненарушимым молчанием с каждым днем умалает её влияние при дворе? Как могла она отомстить последнему из того круга людей, кто дерзнул противиться ей, кому она уже отомстила, кого она устранила, с дороги смела, точно хлам?

Все эти подзаборные шлюхи ужасно злопамятны. По этой причине девица Бекю, внезапно ухватившая такую непостижимую удачу за хвост, ничего, тем более не может не отомстить. Она ищет, кусает губы, ничего подходящего не находит и вдруг обнаруживает, что по Версалю слоняется какой-то придуманный, неприкаянный граф, кичится внезапно свалившимся на него состоянием, что-то праздно болтает о каких-то темных расчетах, таинственных сделках, отчего-то не заверенных нотариусом денежных актах и еще черт знает о чем. Ради чего

он всё это болтает? А единственно ради того, чтобы привлечь к своей ничтожной фигуре внимание, придать себе хоть какой-нибудь вес, поскольку в раззолоченных залах Версаля никого не удивишь ни купленным титулом, ни размерами случайно упавшего состояния. Как же не надуть ему в оба уха вражду к неудобному человеку в обмен на прельстительный для ничтожества чин генерала, который обольщал и до сей поры обольщает и не такие умы? Иначе, не чуя такой мощной поддержки у себя за спиной сомнительный граф и новоявленный генерал, во всем прочем неприметный и скромный, никогда не проявил бы той исключительной наглости, которую он вдруг проявил. Мелкие натуры сами по себе, без поддержки, без влияния со стороны, не способны ни к злу, ни к добру.

Сам давно наторевший в изобретательных, хитроумных интригах, знающий толк в закулисной борьбе, Пьер Огюстен не может не ощущать, что в этом внезапно заварившемся деле что-то неладно, что-то не так. К тому же, он склонен к разного рода эксцессам, а здравый смысл ему говорит, что все эти домыслы о сомнительной достоверности документа, порочащие его репутацию, лучше всего придержать, загасить на корню, чтобы они не разгорелись в пожар. Как ни противны его доброму нраву эти пахучие дрязги, он, прибегнув к услугам посредника, обращается к своему должнику и пытается достичь соглашения. Сомнительный граф и новоявленный генерал с презрением отвергает эти естественные попытки и открыто объявляет Пьера Огюстена мошенником.

Такой оборот пустякового дела Пьеру Огюстену крайне не нравится. Пьер Огюстен понимает, что должен защитить свою честь, но долго колеблется, долго взвешивает все обстоятельства, что лишний раз свидетельствует о том, что за прозрачной спиной графа и генерала ему видятся иные фигуры. Лишь после серьезных раздумий он обращается в суд.

В этом месте необходимо остановиться ещё раз. Собственно говоря, со своим иском он должен обратиться в новый парламент, только что из своих надежных клеветов образованный сквернавцем Мопу, этим ничтожеством, этим холопом, полностью находящимся в жестких руках дю Барри. Тем не менее Пьер Огюстен не делает этого, точно заранее знает, что в этом вертепе неправосудия его очевидно правое дело будет проиграно, какие доказательства он ни представил бы в защиту своей правоты.

Пользуясь тем обстоятельством, что он сам судейский чиновник, жалобу на графа и генерала он подает в Рекетмейстерскую палату, нечто вроде закрытого суда егермейстерства, в котором заседает он сам.

Рекетмейстерская палата для него ещё тем хороша, что судебное разбирательство ведется в ней беспристрастно, конечно, в пределах возможного, поскольку ни в каком суде полного беспристрастия нет. Эта особенность палаты графу и генералу тоже известна. Пользуясь оплаченными услугами мэтра Кайара, одного из самых продувных адвокатов эпохи, граф и генерал бесчисленными уловками разного рода затягивает процесс и тем самым косвенно свидетельствует о том, что его обвинение вымышлено, что ему необходима не столько победа в процессе, которая превратит мелкого кредитора в крупного должника, сколько моральное уничтожение своего внезапно обнаруженного врага. Нельзя исключить, что его руками затевается такого же рода игра, что и закулисная игра с Марией Антуанеттой, поскольку Мария Антуанетта продолжает молчать. Таким способом противная сторона как будто просто-напросто предлагает обменяться услугами.

В этом мире закулисных интриг всё может быть.

## Глава четырнадцатая

### Первая схватка

Как бы там ни было, в обществе поднимается шум. Граф и генерал похваляется всюду: – Ему понадобится не менее десяти лет, чтобы получить эти деньги, а за десять лет он ещё натерпится от меня.

Принц де Конти, переходя из одного салона в другой, восхищенный собственным остроумием, комментирует эти наглые заявления так:

– Бомарше получит либо деньги, либо петлю на шею.

Какая-то певица, возражая слишком остроумному принцу, тоже острит:

– Если его повесят, веревка треснет по приговору.

В общем, Пьер Огюстен становится темой для каламбуров и болтовни скучающих от праздности парижских салонов, что иной раз бывает опасней приговора суда.

Тем временем граф и генерал де Лаблаш плетет веревку покрепче, чтобы её не оборвал никакой приговор. Граф и генерал, не моргнув глазом, использует клевету. Сам ли он припоминает все грязные сплетни, сетью которых Пьер Огюстен опутан давно, напоминает ли ему о них кто-нибудь, только он вновь извлекает на свет божий и под видом предположений пачкает грязью всю честную жизнь своего вынужденного истца. Не воровал ли тот у своего милого папеньки, если папеньке пришлось заключить с ним известный контракт? Не отравлял ли тот своих скоропостижно скончавшихся жен? Не раздавались ли обвинения, что и в Испании тот бывал нечист на руку, садясь за карточный стол?

Короче говоря, этот чистопородный подлец наполняет Париж и Версаль такими позорными темными слухами, которые ни проверить, ни опровергнуть нельзя. Не станешь же в самом деле ходить по салонам и таким доверительным шепотом сообщать то тому, то другому из видавших виды, провонявших откровенным цинизмом обитателей света, что, мол, Богом клянусь, не крал у отца, жен на тот свет не спроваживал и всегда самым благороднейшим образом в карты играл, как в Мадриде, так и в Париже? Что касается долговых обязательств, так, мол, этот Лаблаш настоящий подлец!

Другими словами, натерпелся Пьер Огюстен по самые ноздри, испытал на собственной шкуре всю ядовитость ловко пущенной клеветы. И до того в его душе наболело, нажгло, до такого бешенства он подчас доходил, что однажды, он вставляет в комедию злой монолог и произнести его ни с того ни с сего поручает проходимцу Базилу. Вот почему проходимец Базиль вынужден декламировать с искренним жаром, нисколько не соображаясь с ходом сюжета, даже прямо вопреки театральному смыслу:

– Клевета, сударь! Вы сами не понимаете, чем собираетесь пренебречь. Я видел честнейших людей, которых клевета почти уничтожила. Поверьте, что нет такой пошлой сплетни, такой пакости, нет такой нелепой выдумки, на которую в большом городе не набросились бы бездельники, если только за это приняться с умом, а ведь у нас здесь по этой части такие есть ловкачи!.. Сперва чуть слышный шум, едва касающийся земли, будто ласточка перед грозой, очень тихо, шелестящий, быстролетный, сеющий ядовитые семена. Чей-нибудь рот подхватит семя, тихо, ловким образом сунет вам в ухо. Зло сделано – оно прорастает, ползет вверх, движется – и, сильнее, пошла гулять по свету чертовщина! И вот уже, неведомо отчего, клевета выпрямляется, свистит, раздувается, растет у вас на глазах. Она бросается вперед, ширит полет свой, клубится, окружает со всех сторон, срывает с места, увлекает за собой, сверкает, гремит и, наконец, хвала небесам, превращается во всеобщий крик, в крещендо всего общества, в дружный хор ненависти и хулы. Сам черт перед этим не устоит!..

Какой блистательный монолог! Какое проникновенное знание истины! И какую глубочайшую чашу надо испить, сколько надо вынести надругательств и мук, чтобы познавать

истины этого рода и вырывать из оскорбленной души монологи, напитанные собственной кровью!

В самом деле, и сам черт не устоит перед такой мастерски пущенной клеветой, и Пьер Огюстен пошатнулся под её убивающим бременем, однако устоял на ногах. Это удастся ему с величайшим трудом. Он нуждается в помощи, в людях, которые могут его поддержать, располагая действительной властью, как незримо и тайно поддерживал он Шуазеля и незримо и тайно поддерживал его Шуазель. Он оглядывается вокруг и убеждается ещё в одной горькой истине, которую вскоре выскажет вслух:

– Чужие дела возбуждают любопытство только в том случае, когда за свои собственные беспокоиться нечего.

Скоро год, как его собственные дела в большом беспорядке. Его крушит и ломает тоска от невозвратимых утрат. Ему поневоле приходится отрешиться от хода политических дел и придворных интриг. Теперь его интерес, его любопытство вновь пробуждаются. Он ищет опоры, и чужие дела становятся поневоле своими.

Что же он видит? Он видит, что двор раскололся на враждебные партии и что между этими враждебными партиями речь завелась уже не только о куске пирога, который надо исхитриться урвать и поскорей проглотить, как было все эти годы с тех пор, как он таким неожиданным образом приблизился ко двору. В обычной придворной вражде, свойственной всем королевским дворам, уже слышатся новые звуки, за живыми людьми уже встают новые тени и призраки, которые чуть ли не первому удастся ему разглядеть, разгадать.

У всех на виду, разумеется, блистает отборными бриллиантами и бесшабашным весельем партия мадам дю Барри. Эта наглая шлюха по-прежнему держит в руках всю власть в королевстве, а вместе с ней и власть над людьми.

Вокруг наглой шлюхи сплошная стена, составленная из старых аристократов, людей далеко не бездарных, однако безнравственных и алчных до мозга костей. Они давно ухватили свои куски пирога и жаждут только сберечь, сохранить, удержать за собой то, что имеют, а для этого тщатся сохранить, сберечь, удержать весь старый режим, при котором интрига и титул продвигают неустанно вперед, к новым кускам пирога. К старым аристократам прибивается молодежь известных фамилий, с младенчества развращенная откровенным цинизмом отцов. Эта юная поросль готова делать гадости, подличать, предавать, лишь бы поскорей протолкаться в сплоченные ряды тех, кто бесконтрольно кормится из многострадальной королевской казны. Их по пятам преследуют чиновники высшего ранга, с откровенной надеждой в угодливом взгляде получить ещё более важное место и чин. А там теснится всякая шушера, предприимчивые дельцы, искатели приключений, продажные литераторы, которые расхваливают и бранят по указке и получают плату разного рода подачками или одобрительным трепком по плечу: стараешься, мол, сукин сын, ну, старайся, старайся, подлец, а мы не забудем тебя.

Они все, в одиночку и скопом, готовы служить мадам дю Барри, хоть клеветой, хоть интригой, хоть тут же в постель, разумеется, в течение всей той прекрасной поры, пока в её руках власть, а так же готовы тотчас предать, как только власть из её рук ускользнет, чтобы с новой готовностью другое место лизать. Лизоблюды-с, мой батюшка!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.